



ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

ТАЙНАЯ
РЕКА
КЕЙТ
ГРЕНВИЛЛ

Гибкая, льющаяся, подобно реке, проза Гренвилл –
чистое удовольствие для читателя.

Наталья Ломыкина, Forbes

Кейт Гренвилл

Тайная река

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66360536

Кейт Гренвилл Тайная река:

ISBN 978-5-907428-03-4

Аннотация

«Тайная река» – роман о моральном выборе и его последствиях, мощнейшее произведение антиколониальной литературы, созданное на основе семейной истории писательницы Кейт Гренвилл.

В 1806 году Уильям Торнхилл, английский бедняк и человек вспыльчивого нрава, крадет доски, и его вместе с любимой женой Сэл депортируют в Новый Южный Уэльс (будущая Австралия). Невероятная любовь Уильяма к обретенному экзотическому уголку нового мира омрачается тем, что постепенно становится ясно: создать дом для своей семьи означает лишить земли тех, кто здесь живет.

Содержание

Отзывы о книге «Тайная река»	6
Введение	8
Чужаки	15
Лондон	21
Сидней	113
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Кейт Гренвилл

Тайная река

Kate Grenville

THE SECRET RIVER

Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE and The Van Lear Agency LLC.

Дизайн обложки: Canongate Books Ltd.

Адаптация обложки для издания на русском языке Светланы Зорькиной

Издательство благодарит The Map Collection, State Library of Victoria, and the New South Wales Public Office за предоставленную географическую карту 'An Outline Map of the Settlement in New South Wales, 1817' by S.A. Perry

© 2005 by Kate Grenville

© Наталия Рудницкая, перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство «Лайвбук», оформление, 2021





Отзывы о книге «Тайная река»

«Выдающееся исследование столкновения культур... Пугающее в своей тщательности описание горестей и ужаса колониализма... Кейт Гренвилл – умудренный опытом автор».

Guardian

«Это тот роман, который следует прочесть каждому».

Irish Times

«Волнующий рассказ о жестоком столкновении двух культур, но к тому же – и в этом выдающееся достижение романа – это еще и невероятно живое описание прекрасной девственной природы».

Mail on Sunday

«Живое и волнующее описание бедности, борьбы и поисков мира».

Independent

«Здесь, в “Тайной реке”, Гренвилл, открывая источники своей кровной связи с Австралией, наконец-то удовлетворяет пожелания некоторых ее критиков придать повествованию большую остроту, ввести больше действия... Описывая Торнхилла, Гренвилл создает образ человека, чья жажда владеть землей

совершенно понятна... У Гренвилл Австралия, как всегда, предстает такой прекрасной, что читателям тоже захочется урвать для себя кусочек ее пропеченной солнцем души».

Daily Telegraph

«Роман невероятно умно оперирует на двух уровнях – историческом и частном и философском, поднимая вопрос о том, до какой степени возможно владеть хоть чем-либо, даже собственной жизнью».

Times Literary Supplement

«Чтение “Тайной реки” может заставить вас хотя бы на время отказаться от чего-то менее изысканного».

Daily Express

«Наконец-то нашелся кто-то, кто действительно умеет писать».

Питер Кэри,

австралийский писатель, дважды лауреат Букеровской премии

Посвящаю этот роман аборигенам Австралии

—

тем, кто жили, живут и будут жить на этой земле

Введение

Прапрапрадед Гренвилл по имени Соломон Уайзмен был лодочником на Темзе. Происхождения он был более чем скромного – один из тех лондонских бедняков, для которых кража нескольких досок из перевозимых им пиломатериалов не считалась делом таким уж зазорным. Но его поймали, и в 1805 году он был приговорен к повешению. В последний момент его помиловали и заменили смерть на виселице высылкой в Австралию. Жене разрешили ехать с ним как вольной поселенке – в те времена это практиковалось широко, потому что в колонии женщин было мало и сопровождение осужденных женами задешево решало проблему.

Попав туда, осужденные становились практически рабами тех, кто уже отбыл свое наказание и поднялся до уровня поселенца. Мужчин могли отдавать в рабство их же вольным женам, как и получилось с Уайзменом. Человек стойкий и разумный, он нашел применение своим навыкам лодочника и тяжким трудом заслужил в 1810 году условно-досрочное освобождение, а полное прощение – в 1812 году. Он перевез семью на облюбованный им участок плодородной земли на берегу реки Хоксбери, где построил похожий на форт дом, и со временем стал уважаемым гражданином.

В детстве Кейт Гренвилл с мамой ездила посмотреть на этот дом. Мать Кейт была женщиной необычной – она гор-

дилась своим предком-каторжником и пересказывала дочери легенды о нем. Эти рассказы, а также интерес к тому, что значила для коренного населения Австралии колонизация, побудили Гренвилл изучить семейную историю – она намеревалась написать документальную книгу. Но чем больше она узнавала, тем меньше, казалось ей, она знала на самом деле, пока однажды романист, которым она, по сути, и была, не взял верх над документалистом – и она решила освободиться от навязываемой предком точности, попросту изменив имя героя. Река Хоксбери осталась, как и построенный Уайзменом дом, но только теперь в нем поселился Уильям Торнхилл, и этот необъяснимый феномен – воображение романиста – создал нечто, принимаемое читателями за непреложную истину. Исследования сформировали крепкий каркас, воображение населило его героями.

Вполне возможно, что английский читатель останется равнодушным к *самой идее* романа об Австралии, особенно если речь в нем идет об отношении страны к ее аборигенному населению. Нам хватает собственных поводов чувствовать себя виноватыми, поэтому мы склонны аккуратненько так упаковывать чужую вину, навешивать на нее ярлычок «прискорбно», после чего выбрасывать вон из головы. Нам подавай романы, способные пощекотать нервы, в которых было бы написано о том, что мы могли бы потрогать и понюхать, чего могли бы возжелать или чего хотели бы избежать, а не те, которые читали бы из чувства долга. Поэтому важно

знать, что этот роман – не «про Австралию». Он о человеке по имени Уильям Торнхилл и о его жене Сэл, о том, как они пустились в предприятие настолько странное, что кажется невообразимым, о том, что это предприятие сделало с ними и как они его пережили. Если уж их история не сможет «пощекотать нервы», значит, у вас их просто нет. Или они какие-то совсем невосприимчивые.

Никогда больше эти люди, отчаявшиеся, растерянные, грязные, девять месяцев проведенные в чудовищной вони корабельного трюма, не испытают того чувства, которое испытали, выбравшись на палубу и увидев скалистый берег с прилепившимися к нему домиками-временками и простирающийся за ним бескрайний серо-зеленый буш, и не будет больше этого первого удара яростного солнца. Никогда больше мужу и жене с двумя детьми, один из которых совсем младенец, не выдадут пары одеял и недельного запаса еды, не выделят мазанку из ветвей акации с земляным полом: живите, как хотите. «Домохозяйство» должно было кормить себя самостоятельно, а не обращаться в казенный пакагауз – наверное, самый экономичный из когда-либо придуманных способов содержания преступников. Торнхиллы, которые ничего не знали о мире за пределами лондонских трущоб да нескольких миль по Темзе, могли вполне сгинуть в ситуации, требовавшей немалого мужества и смекалки. Одни осужденные выживали всеми правдами, другие – всеми неправдами (и часто за счет самого худшего в себе), но Тор-

нхиллы оказались среди тех, кто открыл в себе невероятные запасы добра – неприметного, обыденного добра, – достойного, однако, восхищения, когда мы увидим, к чему оно их привело.

Главная и самая драматичная часть истории Гренвилл – это ее итог, и здесь особенно восхищаться-то нечем. Бескрайняя серо-зеленая пустота не была, конечно же, пустой. Обитатели умели мастерски в ней скрываться, но это не значит, что их не было. Почти во всем их культура была прямо противоположной культуре колонистов, ни одна из сторон не знала языка другой стороны, и хотя на первый взгляд ничто не препятствовало их свободному общению, это не значит, что они могли бы сотрудничать. Дело не только в том, что аборигены были темнокожими и ходили обнаженными, а колонисты – белыми и считали наготу непристойной. Куда больше рознило их отношение к собственности: колонисты признавали собственность, а аборигенам это понятие было совершенно чуждо.

Сначала Уильям Торнхилл зарабатывал на жизнь доставкой товаров из Сиднея поселенцам, которые завели фермы вдоль берега Хоксбери, а потом понял, что сможет иметь куда больше, если сам станет фермером. Белый человек мог приобрести землю очень просто: выбрав участок, посеяв зерно и сказав: «Это мое». Потому что никаких видимых признаков того, что эта земля кому-то принадлежит, не существовало, да и по представлениям белого человека эта зем-

ля действительно никому не принадлежала. Но на ней могла расти ямсовая маргаритка¹, корнями которой питались аборигены, и в сезон цветения племени приходили сюда, выкапывали корешки, оставляя часть в земле, чтобы и на следующий год можно было собирать урожай. Поколение за поколением они собирали корешки, и когда кто-то, вспахивая землю, выбрасывал желтые цветочки как сорняки, это означало, что в следующем сезоне племя обречено на голод – если, конечно, не заберет себе выросшую на месте маргариток кукурузу, что казалось аборигенам совершенно естественным. Пища – она не для тебя или для меня, она для всех людей, все люди ее едят. Такая разница в понимании неминуемо вела к катастрофе.

Способы, которыми Гренвилл передает растущую напряженность между двумя сообществами, зловеще убедительны. Когда Торнхиллы выбрали участок земли, они его расчистили и построили на нем хижину. Почва здесь была каменной, стволы деревьев для строительства опор слишком различались по размерам, кора, которой покрывали крышу и стены, оказалась неподатливой, и хижина вышла кривобочная и хлипкая. Днем все были заняты делами, и времени на беспокойство и страхи не оставалось, но когда опускалась темнота, и они сбивались в кучу в их неубедительном убежи-

¹ От *англ.* yam daisy (*лат.* *Microseris lanceolata*) – австралийское многолетнее растение с желтыми цветками и съедобными клубневыми корнями, также известное как мурнонг или ромашка ям. – *Здесь и далее примеч. пер.*

ще, слушая дыхание буша, его шорохи и вопли... Гренвилл заставляет читателей так же трепетать от страха, как дрожала семья Торнхиллов. И даже днем скрывавшиеся в густом кустарнике тени вдруг обретали очертания чьей-то фигуры – а иногда это и *правда* была фигура, – что не могло не пугать. И когда группа аборигенов действительно материализовалась, буквально из ниоткуда, когда они построили свои шалаши, разожгли свои костры и начали совершать свои таинственные ритуалы, словно Торнхиллов здесь и не было, да при этом все мужчины были вооружены наводящими ужас копьями, потребовалось огромное нервное напряжение, чтобы уверять себя: нет, эти люди – не враги.

Большинство поселенцев – а ферм было не так уж и много, и располагались они на большом отдалении друг от друга – не справлялись с этим нервным напряжением, а некоторые вели себя так, будто им действительно что-то угрожает, и результаты были кошмарными. Уильям Торнхилл, по существу добропорядочный человек, был в ужасе, когда увидел то, чем похвалялся один из его соседей, но ничего не рассказал об этом Сэл – он боялся, что жена запаникует, и это означало бы потерю драгоценного для него куска земли, – таким образом став соучастником неопишимо чудовищного деяния просто потому, что чудовищность была поистине неопишемой. И сначала он даже не понял, что оказался втянутым в тайную необъявленную войну.

В детстве Кейт Гренвилл спрашивала у матери, что слу-

чилося с аборигенами, когда их предок начал свою австралийскую жизнь, и мать ответила, что к тому времени, как он сюда прибыл, все они уже переселились вглубь континента. В это стало очень удобно верить. Но исследования столкнули Гренвилл лицом к лицу с правдой, и это была не просто неудобная правда. Это была страшная правда. Временами, чтобы переживать все вместе с Уильямом и Сэл, от читателя требуется огромная выдержка. Но Гренвилл – и в этом великая сила ее романа – также заставляет сочувствовать своим героям, потому что, если кто-то на одном конце планеты решил колонизировать землю на другом конце планеты, сбрасывая на эту землю преступников и злодеев и не принимая в расчет тех, кто уже обитает здесь, тогда те, кого сюда ссылали, становятся такими же заложниками ситуации, как и те, на чьи землю их выбросили.

Великую историю от просто хорошей отличает лишь одно – как долго ее отголоски звучат в душе читателя, что он чувствует, закрыв книгу, в которой все так отличается от окружающего его мира. Это непросто – выделить качества, которые вызывают такой эффект, но Кейт Гренвилл, рассказав историю Торнхиллов и правдиво описав необъятные просторы, на которых она развивалась, этого эффекта добилась.

Диана Этхилл²

² Диана Этхилл (1917–2019) – издатель, романист и мемуарист, работавшая с самыми выдающимися англоязычными писателями XX в., офицер Ордена Британской империи.

Чужаки

Почти год «Александр» – груженный преступниками корабль – болтался по океанской поверхности. И теперь, в год от Рождества Христова тысяча восемьсот шестой, он доплыл до края земли. Замка на двери хижины, в которой Уильям Торнхилл провел свою первую ночь в каторжном поселении, приговоренный к пожизненному здесь пребыванию, не было. Как, собственно, не было ни самой двери, ни стен как таковых – лишь слепленная из обрывков коры, палок и глины ограда. Здесь, в Новом Южном Уэльсе, нужды ни в замках, ни в дверях, ни в крепких стенах не имелось: решеткой в этой тюрьме служили воды, простирившиеся кругом на десятки тысяч миль.

Жена Торнхилла сладко спала рядом, ее рука все еще покоилась в его руке. Старший и младший ребенок тоже спали, свернувшись клубочком. И только Торнхилл не мог заставить себя закрыть глаза в этой чужой тьме. Сквозь дверной проем вливалась ночь, огромная и влажная, неся свои звуки – скрип, треск, чье-то шуршание, и поверх всего – тяжелое дыхание бесконечного леса.

Он встал, вышел наружу – никто не прикрикнул на него, не было никакой стражи, была только живая, дышащая ночь.

Вокруг него всколыхнулся напоенный густыми запахами воздух. Деревья уходили ввысь. В ветвях прошелестел легкий ветер, затем и он затих, остался лишь необъятный лес.

Он был не более чем блошкой на теле огромного живого существа.

Внизу, под холмом, в кромешной тьме лежало поселение. Устало пролаяла собака и смолкла. В заливе, где стоял на якоре «Александр», тихо ворочалась вода, с шуршанием терлась о берег.

В небе над ним висел тоненький месяц в окружении бесчисленных звезд, смысла в них было не больше, чем в рассыпанном по столу рисе. Не было здесь ни Полярной звезды, друга, сопровождавшего его в плаваниях по Темзе, ни Большой Медведицы, которую он знал всю жизнь, – всего лишь светящиеся точки, нечитаемые, равнодушные.

Все долгие месяцы на борту «Александра», лежа в гамаке, которым ограничивался весь его мир, слушая, как плещется о борт вода, стараясь различить в доносившемся из женского трюма гомоне голоса жены и детей, он находил успокоение в том, что перебирал в памяти извивы родной Темзы. Собачий остров, глубокие водовороты возле Ротерхита, внезапное изменение звездной карты, когда река делала крутой поворот на Ламбет, – все это было его жизнью, его дыханием. В соседнем гамаке ворочался Дэниел Эллисон – он дрался даже во сне, женщины за переборкой тихо спали, а перед его мысленным взором проходили повороты реки, один за другим.

И сейчас, стоя в этой громадной дышащей темноте, ощущая босыми ногами прохладную почву, он понял, что жизнь закончилась. С таким же успехом он мог болтаться на конце отмеренной ему веревки. Из этого места не возвращаются, как не возвращаются после смерти. Он почувствовал острую боль, какая бывает, когда загонишь щепку под ноготь – боль потери. Он умрет под этими чужими звездами, и кости его будут гнить в этой прохладной земле.

За свои тридцать лет он не плакал ни разу – ни разу с тех пор, как был совсем мальцом, не понимающим, что плачем не насытишься. Но сейчас горло перехватило, и отчаяние выжало из глаз теплые слезы.

Было кое-что похуже смерти – жизнь его этому научила. Существование здесь, в Новом Южном Уэльсе.

Сначала ему показалось, что это из-за слез темнота перед ним пришла в движение. Но через секунду он понял, что то, что зашевелилось, было на самом деле человеком, таким же черным, как сам воздух. Его кожа поглощала свет, и он казался не совсем реальным, плодом воображения. Глаза у него были словно вдавлены в череп, почти невидимы, каждый в своей костной пещере. Рот и подбородок выступали вперед, все лицо казалось сдвинутым ко рту, крупный нос, складки на щеках. Торнхилл, совсем не удивившись, будто все это ему виделось во сне, разглядел на груди человека шрамы – аккуратные, изогнутые, они, казалось, жили на коже сами по себе.

Он шагнул к Торнхиллу, и рассеянный свет звезд упал ему на плечи. Свою наготу он носил словно мантию. В его ладони, как продолжение руки, было зажато копье.

Торнхилл был в одежде, но показался сам себе голым, словно какая-то личинка. Копье было длинное и серьезное. Он избежал смерти в петле, только чтобы умереть здесь, под этими холодными звездами, когда вся кровь вытечет из продырявленной кожи! А позади него, едва скрытые кусками древесной коры, спали мягкие, теплые комочки плоти – его жена и дети.

Гнев, этот старый друг, пришел ему на помощь. «Да чтоб у тебя глаза повылазили! – крикнул он. – Иди к дьяволу!» Плеть уже успела убедить его в том, что он злодей, и он почувствовал, что вновь разрастается до ставшего привычным естества. Голос стал грубым, обрел силу, гнев разогрел его.

Он с угрозой шагнул вперед. Разглядел прикрепленный к концу копья острый каменный наконечник. Такой наконечник не проткнет человека легко, словно игла. Он его просто разорвет. А когда копье станут вытаскивать, разорвет снова. Эта мысль еще больше его распалила. «Пошел вон!» – крикнул он. И занес над человеком руку, пустую руку.

Рот черного человека пришел в движение, из него послышались какие-то звуки. Говоря, человек жестикулировал копьем, и оно то исчезало во тьме, то выныривало вновь. Они стояли так близко, что могли дотронуться друг до друга.

В быстром потоке звуков Торнхилл вдруг различил слова.

«Пошел вон! – крикнул человек. – Пошел вон!» Слова точь-в-точь повторяли его интонацию.

В этом было что-то безумное, как если бы вдруг собака залаяла по-английски.

«Пошел вон, пошел вон!» Он стоял так близко, что видел свет, отражавшийся в глазах человека, глазах, что прятались под тяжелыми бровями, видел прямую, сердитую линию рта. У него самого не нашлось больше слов, но он упрямо стоял на месте.

Он уже однажды умер, можно сказать и так. И мог бы снова умереть. У него ничего не осталось – только грязь под босыми ступнями, маленький клочок неизвестной земли. Вот и все, что у него было, да еще эти беспомощные существа, спавшие в хижине за спиной. И он не отдаст их никакому обнаженному черному человеку.

Между ними возникла тишина, послышался шорох ветра в листьях. Он взглянул назад, туда, где спали жена и дети, а когда повернулся вновь, человека уже не было. Тьма перед ним шептала, ворочалась, но то был только лес. Который мог бы спрятать сотни черных людей с копьями, тысячи, целый континент людей с копьями и с этой беспощадной линией рта.

Он быстро вернулся в хижину, споткнувшись в дверном проеме, из-за чего от стены отвалился кусок коры и смешанной с соломой глины. Хижина не давала никакого укрытия, то была лишь иллюзия безопасности, но все же он приладил

кору на место. Он вытянулся на земляном полу рядом с семьей, заставляя себя лежать спокойно. Но каждый мускул был напряжен, предвкушая удар в шею или в живот, он даже ощупал себя, словно его плоть уже пронзила эта ничего не прощающая штуковина.

Лондон



В комнатах, в которых Уильям Торнхилл рос в последние десятилетия восемнадцатого века, нельзя было локтем пошевелить без того, чтобы не задеть стену, или стол, или кого-то из сестер или братьев. Дневной свет с трудом пробивался сквозь маленькие окошки с надтреснутыми стеклами, сажа из чадающего очага покрывала стены.

Там, где они жили, почти у самой реки, улицы были шириною в шаг, и даже в самый солнечный день на этих улицах стоял сумрак, потому что дома жались друг к другу. Кирпичные стены и трубы, булыжник и гнилые доски, беленые известкой, отчего структура дерева становилась заметней. Ряды и ряды насапившихся, нависавших друг над другом домов, выросших из самой почвы, на которой они стояли, а за ними – сыромятни, бойни, клееварильни, солодовни, наполнявшие воздух своими миазмами.

За сыромятнями, во влажной кислой почве, бились за выживание репа и свекла, а за изгородями да стенами лежали низинки, там не сажали ничего – уж больно мокро там было, только камыши торчали из гнилой воды.

Все Торнхиллы подворовывали репу, дело рискованное: либо собаки покусуют, либо закидают камнями фермеры. Вон у

старшего брата Мэтти на лбу осталась отметина от камня, из-за чего в тот раз репа показалась не такой вкусной.

Выше всего были колокольни. На этих вонючих кривых улочках, и даже еще ниже, на болотах, от них было не скрыться – смотрели отовсюду. Стоило спрятаться от какой-нибудь за поворотом, как из-за трубы пялилась на тебя другая.

А под колокольней – Божий дом. Жизнь Уильяма Торнхилла, по крайней мере, сознательная его жизнь, началась с самого большого имевшегося у Господа дома – Церкви Христовой у реки. Дом был такой огромный, что, когда он смотрел на него, у него слезились глаза. У входа стояли каменные столбы, на столбах скалились каменные львы, мать подняла его, чтобы он мог рассмотреть их получше, но он испугался и заплакал. И газон был огромный, такой, что, казалось, мог заглотить его целиком, и когда он стоял посреди этой немыслимой пустоты, у него кружилась голова. По краям газон сторожили кусты, люди, мелкие, словно букашки, где-то там вдали взбирались по огромным ступеням к входу. Его накрыла тошная, горячая волна паники.

Внутри был невиданный им доселе высоченный свод и такой необычный свет. Какой же большой дом был у Господа, пугающе огромный для мальчика с Теннерс-Лейн. Он видел перед собой затейливую резьбу, покрывавшую все вертикальные поверхности, колонны, что вздымались над сидевшими на скамьях людьми. Все его существо растворялось в

безмерной пустоте, а из огромных окон лился холодный безжалостный свет, он не оставлял тени, от него невозможно было укрыться. В этом сером каменном сооружении мальчику в протертых штанишках не стоило искать милосердия.

Он ни о чем таком не думал, он только сразу понял, что Господу нет до него никакого дела.



С того момента, как он узнал собственное имя – *Уильям Торнхилл*, – ему казалось, что мир населен одними только Уильямами Торнхиллами. Начать с призрака первого Уильяма Торнхилла – брата, который умер через неделю после рождения. Через полтора года, в 1777-м – в «семь-семь-семь» был свой особый ритм, – пришел в этот мир он сам, и ему дали такое же имя. Первый Уильям Торнхилл был горсткой праха, смешанного землей, а он состоял из теплой плоти и крови, и все равно мертвый Уильям Торнхилл казался ему главным, настоящим, а он сам – лишь тенью.

За рекой, в Лейбор-ин-Вейн-корт, жили родственники, там тоже были Уильямы Торнхиллы. Старый мистер Торнхилл, чья трясущаяся иссохшая голова росла прямо из темных одежек. Потом его сын, Молодой Уильям, который прятался за черной бородой. Возле церкви Святой Марии на Холме был еще один Уильям Торнхилл, большой мальчик – двенадцати лет, – и каждый раз, увидев самого позднего Уи-

льяма Торнхилла, он давал ему пинка.

А когда жена дяди Мэтью, того, что был морским капитаном, родила в очередной раз, сына тоже назвали Уильямом Торнхиллом. Они все пошли посмотреть на младенчика, и когда назвали это имя, то все повернулись к нему, и все улыбались, и хотели, чтобы он тоже улыбнулся, и он так и сделал. Но его смышленная сестричка Мэри, самая старшая, видела, как он скучился. Потом она двинула ему кулаком в плечо и сказала: «У тебя, Уильям Торнхилл, имя самое обыкновенное», и он почувствовал, как в нем поднялась волна гнева. Он стукнул ее в ответ и проорал: «Уильямы Торнхиллы заселят весь мир!» И она не нашлась, что сказать в ответ, хотя и была смышленная и всякое такое.



Сестра Лиззи, слишком маленькая, чтобы подшивать саваны, но уже достаточно взрослая, чтобы таскать на руках ребятшек, заботилась о малышах. В свои шесть лет она носила на бедре маленького Уильяма, чтобы он не ползал по грязи, и запах Лиззи и грубая текстура ее непослушных волос, выбивавшихся из-под чепца, были для него куда роднее материнских.

Он все время был голодным. То был факт жизни: тянущее ощущение в животе, пресный привкус во рту, раздражение и разочарование от того, что еды всегда не хватало. А

когда еда появлялась, главное было побыстрее запихнуть ее в рот, чтобы освободить руки и схватить еще. Если он был достаточно проворным, то успевал выхватить хлеб, который младший братик Джон только подносил ко рту, откусить кусок и быстро проглотить. Потому что проглоченное никто уже отобрать не сможет. Но Мэтти тоже не дремал и выхватывал хлеб из ручонки Уильяма, глаза у Мэтти при этом становились маленькими и суровыми, как у животного.

А еще всегда было холодно. Ему до ужаса, до отчаяния хотелось согреться. Зимой ступни его, там, на концах ног, леденели. По ночам они все дрожали, лежа на гнилой соломе, чесались от блох и клопов, прокусывавших их сквозь лохмотья.

Он не раз разжевывал клопов.

На двух младших Торнхиллов было одно одеяло, они грели друг друга своими вонючими тельцами. Джеймс был старше на два года, одеяла ему доставалось больше, но Уильям, хоть и младший, был хитрее. Он не позволял себе заснуть, пока не услышит храп Джеймса, и тогда стягивал одеяло на себя.

«Ты все время есть хотел», – отвечала мать, когда он спрашивал про себя маленького, после чего заходила кашлем, и кашель сотрясал все ее тело. Порою казалось, что кашель – вот и все, что от нее оставалось. «Жадный маленький паршивец, вот какой ты был», – шептала она, едва дыша, и он, пристыженный, уходил, но все равно слышал урчание в пу-

стом животе. Он по голосу понимал, что она его не любит, и что-то в нем каменело.

Лиззи говорила про то же, но по-другому. «Жадина! – воскликнула она. – Уж поверь, Уилл, жадина ты был, да и то верно: такие здоровенные парни с ничего не берутся!»

Но что-то в ее голосе говорило, что быть здоровенным парнем не так уж и плохо, а когда она добавила: «Мы тебя называли бездонной бочкой», понятно стало, что она улыбается.

Лиззи была доброй сестрой для всех малышей, умела сооружать соску из тряпочки, хлеба и сладкой водицы, ей хватало сил таскать маленького Уильяма на бедре. Но когда Уильяму не было еще и трех, мать снова стала большой и раздражительной, и другой младенец, а не он, стал самым младшим, и уже того таскала на бедре Лиззи. Уильяму, которого и так преследовал дух мертвого Уильяма Торнхилла, теперь не давал житья еще один братец, Джон. Похоже, его всегда будет стискивать с двух сторон то, что было до, и то, что стало после.

Под ним был Джон, над ним – Лиззи и Джеймс и старший брат Мэтти, и Мэри, самая старшая, он ее пугался, потому что она все время кричала и бранилась. Они с матерью целыми днями сидели под маленьким окошком и шили саваны для похоронной конторы Гиллинга. А еще Роберт, он был старше Уильяма, но и младше тоже. У бедного Роберта половины мозгов не было, и слышать он толком не слышал, пото-

му что в пять лет заболел лихорадкой и чуть не умер. Уильям как-то услышал, как мать орет: «Лучше б ты помер, и дело с концом!» У него внутри все похолодело, потому что бедняга Роб был добрым мальчиком, он так улыбался, когда ему что-нибудь давали, – нет, он не хотел бы, чтобы Роб умер.

Па работал на бумагопрядильне, на солодовне, на сыромятне, но нигде подолгу не задерживался. Щеки у него были ввалившиеся, с красными пятнами, будто он злился, и ходил он, как ползал, вечно полусонный, вечно усталый. Когда он говорил или смеялся, слова или смех превращались в нескончаемый влажный кашель. «Трактирщик» – так он назвал себя, когда крестили Джона, но звание трактирщика означило лишь нескольких мрачного вида мужчин из сыромятни мистера Чауберта, собиравшихся в одной из двух принадлежавших Торнхиллам комнат, где они пили эль из грязных деревянных кружек, да ели пироги, что пекла мать, – слишком много теста, слишком мало начинки. Когда по зиме чаны в сыромятне замерзали, то и клиентов тоже не было, и комната пустовала, от половиц воняло старым элем, из очага – холодным пеплом.

Это было тощее время для Торнхиллов. В пять лет Уильям уже выходил с Па на рассвете на улицы с палкой и мешком – собирать шакшу, собачье дерьмо для выделки сафьяна. Мешок нес Па, а юный Уильям был тем, кто с палкой. Па шагал впереди, с высоты своего роста выглядывая собачьи кучи. Если им не удавалось ничего найти, тогда, чтоб напол-

нить животы, кроме глинистой речной воды ничего и не было. Но если Па видел кучу, то это было работой мальчика – стараясь не дышать, палкой переложить дерьмо в мешок. Самое поганое было, когда собаки выбирали брусчатку возле Тайерс-гейт: там между камнями были большие щели, и какашки приходилось выковыривать палкой, а то и ногтями, а Па стоял над ним, кашлял и показывал, где еще ковырять.

За полный мешок шакши в цеху, где выделывали сафьян, давали девять пенсов. Он никогда не спрашивал, как именно шакшу использовали, но чувствовал, что скорее умрет, чем станет снова выковыривать дерьмо из плит, которыми был выложен Саутуарк³.

Но, по правде говоря, когда сосет в пустом брюхе, это похуже вони.

Ма, чтобы раздобыть кусок хлеба, шла на риск, но зато менее пахучий. Вот они – Лиззи, Уильям и Джеймс – наблюдают за ней, спрятавшись за чьей-то повозкой. Торнхилл думает, что намерения Ма чересчур очевидные – вид таинственный, напряженный, идет, словно крадется. Его так и подмывает крикнуть: «Голову выше, Ма! И улыбайся!»

Она подходит к прилавку с книгами. Торговка внутри, в лавке, и непонятно, видит ли она, что происходит у нее возле лотка. Уильяму хочется самому перескочить через улицу, схватить книгу и удрать, а то Ма так возится: перебирает книжки, листает страницы, будто что может прочесть, хотя

³ Саутуарк – один из исторических районов Лондона на южном берегу Темзы.

с буквами знакома не лучше, чем какие-нибудь человечки с Луны. Наконец она прячет одну в складках фартука, и при этом смотрит на книжку, бестолково запикивает ее обеими руками, чуть ли не роняя младенца. До чего ж все неуклюже!

Внезапно возле нее вырастает торговка, вопит: «А ну-ка отдай, миссус!» – они слышат, как Ма дрожащим голосом отвечает: «Что? Да у меня ничего вашего нет!» При этом судорожно сжимает складки фартука, что, несомненно, ее выдает. Торговка, жилистая старая карга, толкает Ма, отчего та падает на колени, из фартука вываливается книжка, младенец тоже вываливается из рук, катится по брусчатке, вопит.

Торговка наклоняется за книгой, а Ма, хоть и на коленях, успевает треснуть ее по затылку. Хоть и старая, торговка мгновенно подсакивает и бьет Ма книгой по спине – они через улицу слышат громкий шлепок, торговка вопит: «Воровка! Воровка!» Но Ма уже поднялась на ноги, держит младенца в руках, принимается пинать прилавок, книги грудой валяются в грязь.

Это – сигнал для притаившихся за повозкой детей: они несутся через улицу и хватают разбросанные книги. Уильям выхватывает по книжке обеими руками, прямо из-под ног торговки, та отпускает Ма, чтобы отобрать книги, он мчится во весь опор, а Ма, воспользовавшись моментом, тоже улепетывает прочь, и торговка мечется, не успевая никого поймать. Два джентльмена, только что вышедшие из «Якоря», приходят старухе-торговке на помощь, но Торнхиллов уже

и след простыл – разбежались, словно крысы в темном закоулке.

У каждого оказалось по книжке. У Уильяма – самая богатая, в переплете из красной кожи с золотыми буквами, точно возьмут у «Лайла» за шиллинг, и без вопросов.



Он рос драчуном. К десяти годам другие мальчишки уже знали, что связываться с ним себе дороже. Ярость согревала, наполняла его. Ярость была ему другом.

Были, конечно, и другие друзья-приятели, они вместе болтались по улицам и верфям, хватали ракушки-сердцевидки с рыбных прилавков на рынке, рылись в грязи и иле после отлива в поисках пенни, которые кидали им развеселые джентльмены.

В банду входили его брат Джеймс, гибкий мальчишка, который мог быстрее таракана пробираться по сточной трубе, и бедный туповатый Роб с вечной улыбкой на лице. А еще тощий маленький Уильям Уорнер, самый младший сын мусорщика с Хафпенни-Лейн, и Дэн Олдфилд, чей папаша утонул – он был среди пассажиров ялика, пытавшегося пройти под Лондонским мостом во время отлива, а все потому, что лодочник был мертвецки пьян. Дэн славился умением таскать раскаленные каштаны у разносчика на Фрайинг-Пэн-Элли, он таскал их столько, что хватало и ему, и другим, он

их прямо горячими раздавал из карманов другим уличным мальчишкам. Как-то раз морозным утром – это Дэн придумал – они с Уильямом помочились прямо себе на ноги, и блаженство, которое они при этом испытали, стоило наступившего потом холода. Был также Колларбоун из Эш-Корта, у того было красное родимое пятно в пол-лица. Колларбоуну нравилась Лиззи. «У нее кожа как у монашки», – с изумлением заявил он Торнхиллу и, видимо, вспомнив про свое багровое пятно, покраснел здоровой половиной лица.

Все они подворовывали при случае. Этот их чистоплюй-священник мог сколько угодно распинаться про грех, но никакого греха в том, чтоб украсть что-то, чем можно набить брюхо, уж точно не было.

Как-то раз Роб заявился в нору возле Дерти-Лейн, где они околачивались с пацанами, с одним ботинком, который стащил с витрины обувной лавки. Он прихватил бы и второй, но обувщик увидел его через окошко и погнался за ним. И даже поймал, сказал Роб, но дядька был старый, а он молодой, и сумел удрать. Уильям взвесил ботинок в руке и спросил: «А на что он тебе, только один?» Роб долго думал, аж весь сморщился от усилия, а потом, втягивая слюну, вечно свисавшую с нижней губы, вскричал: «Продам какому-нибудь одноногому! Он же стоит десять шиллингов, не меньше!» И весь засветился от удовольствия, как будто деньги уже были у него в кармане.



Пока Лиззи выполняла роль матери для Джона, а потом для Люка, сестрой Уильяму стала Сэл, подружка Лиззи из Суон-Лейн. Сэл была единственным ребенком: она родилась худышкой и, видно, прокляла материнскую утробу, потому что все, кого мать потом рожала, болели и умирали, не прожив и месяца.

Ее семья была ступенькой повыше Торнхиллов, поскольку мистер Миддлтон был лодочником, как и его отец, и отец его отца. Все поколения семьи жили на той же улице в том же узком доме с комнатой наверху, с очагом, который зимой топили углем, с окнами, в которых были вставлены настоящие стекла, а в буфете у них всегда имелся хлеб.

Но все равно то был печальный дом, наполненный крошечными призраками умерших младенцев. И с каждым долгожданным, а потом заболевшим и умершим сыном мистер Миддлтон становился все угрюмее и молчаливее. Успокоение он находил в работе. Каждый день он вставал в раннюю рань и был первым лодочником, поджидавшим пассажиров у спускавшихся к реке ступеней-пристаней. Греб весь день и возвращался домой, когда уже темнело, всегда молча, будто всматривался в свою душу, где пребывали его мертвые сыновья.

Ма и Па Сэл надыхаться на свое драгоценное дитяtko не

могли. Мать все время держала девочку подле себя, трепала по щеке, называла куколкой или конфеткой. У Сэл были всякие вкусности, какие только родителям по карману: и апельсины, и бисквит, и мягкий белый хлеб, а на день рождения ей подарили голубую шерстяную шаль, тонкую, как паутинка. Это были совсем не такие Ма и Па, и Уильям – никто из домашних даже не знал, когда у него-то бывает день рождения, – смотрел на них и изумлялся.

Сэл цвела, окруженная заботой. Она не была красоткой, но ее улыбка освещала все вокруг. Ее жизнь омрачало лишь кладбище, на котором были похоронены братья и сестры. Она все время помнила о них, ломала голову – почему они не живут, а она живет, хотя заслуживает жизнь не больше, чем они, и почему ей досталась вся любовь, которую она должна была разделить с ними. Эта тень сделала что-то с ее характером, и такого характера, как у Сэл, Уильям больше ни у кого не видел. Он больше не знал никого другого, кроме Сэл, кто не мог видеть, как курице отрубают голову или как лошадь бьют кнутом. Однажды она набросилась на человека, который порол маленькую собаку, она кричала: «Не трогайте, не трогайте!» – и человек отшвырнул собачку и уже было занес плетку над Сэл, но тут Уильям оттащил ее за руку и крепко держал, пока человек и скулящая от боли собака не скрылись за углом, и тогда она уткнулась носом в грудь Уильяму и рыдала от злости.

Было легко мечтать о том, что живешь в доме 31 по Су-

он-Лейн. Даже название улицы, и то было красивым⁴. Он представлял себе, как живет там, растет в тепле этого дома. И дело даже не в щедром ломте хлеба, намазанном вкусной подливой, – дело в ощущении того, что у тебя есть свое место. Он понимал, что и Суон-Лейн, и эти комнаты были частью самого существа Сэл, а у него ничего такого, что он мог бы назвать своим местом, своим домом, и быть не могло.

И так получилось, что он, чье существование было отмечено присутствием столь многих братьев и сестер, и Сэл, чье существование было отмечено столь многими отсутствиями, нашли в этом что-то для них общее. Они вместе убегали от вонючих мерзких улиц, через засаженные репой и капустой поля, перепрыгивая через канавы с гнилой водой, – прочь, прочь к пустошам Ротерхита, которые, как они считали, принадлежат лишь им одним. Там было в кустах одно местечко, укрытое со всех сторон, где они прятались от ветра. Бледное небо над ними, простор серовато-коричневой воды, крики морских птиц – это место так отличалось от Таннерс-Лейн, что Уильям чувствовал себя здесь совсем другим мальчиком. Он любил это место, его очищенную ветром пустоту. Ни домов, ни проулков, никто за тобой не смотрит, разве только время от времени там появлялись цыгане, да и они надолго не задерживались, и место это снова принадлежало только им.

И когда начинался дождь, мягкий, ровный, настойчивый,

⁴ Англ. Swan Lane – или Лебяжий переулок.

они с Сэл накрывались мешком и наблюдали, как капли пробивают ямочки в серой реке; они не смотрели друг на друга, но глазели по сторонам, и дождь был убедительной причиной не нарушать это состояние, а сидеть рядышком, наблюдая, как смешиваются белые облачка от дыхания.

Что-то в ее лице заставляло его все время хотеть на нее смотреть. В этом лице не было никаких таких уж примечательных черт, кроме, пожалуй, рта – верхняя губа у нее была полной по всей длине, а не сужалась к уголкам, как у других, и это придавало ей решительное выражение, как будто она в любой момент улыбнется или заговорит. Ему нравилось смотреть на этот рот, ждать, когда она к нему повернется, когда в глазах ее блеснет мысль, которой она непременно с ним поделится, чтобы они могли посмеяться вместе.

Когда он был с Сэл, ему не надо было все время ждать нападения, быть бойцом. Но мальчики есть мальчики, и они делают всякие глупости, например, показывают, как далеко они могут плевать. Они наблюдали, как изо рта его вырывается сгусток слюны, сверкает в воздухе, плюхается на траву. Она тоже постаралась плюнуть подальше, и Уильям смотрел на ее рот – как она собирает слюну, вытягивает губы, плюет. Конечно, она никак не могла до него доплюнуть, но он позволил ей думать, что она тоже далеко плюется – чтобы не портить удовольствие.

Ему нравилось, что она называет его Уилл. Его имя носили и называли столь многие, что оно стерлось от употребле-

ния, а имя Уилл принадлежало ему одному.

По ночам, когда его толкал в спину Джеймс, кашляли во сне Па и Ма, рядом храпел и хлюпал Роб, когда в гнилой соломе шуршали крысы, ноги от холода покрывались пупырышками, а живот сводило, потому что за целый день в нем не было ничего, кроме жидкой овсяной каши, он думал о Сэл. На него смотрели ее карие глаза.

При мыслях о ней в нем разливалось тепло откуда-то изнутри.



Когда мама болела в последний раз – Уильяму в тот год исполнилось тринадцать, – она все время вспоминала про львов на столбах у входа в церковь Христа. Она снова и снова проигрывала в памяти, заново переживала случай из детства – как она вскарабкалась на забор и протянула руку, чтобы их погладить. И он чувствовал – словно те ее ощущения переселились в его тело, – как отец отрывает ее от планок забора, он ощущал ту же боль в ухе, что почувствовала и она, когда отец схватил ее за ухо. «Я просто хотела дотронуться, – говорила она и улыбалась бескровными губами. – Я была так близко, так близко. А потом – плюх! – и снова внизу». Ее костлявая рука с синими вздутыми венами, проступающими сквозь тонкую, как бумага, кожу, протянулась к стене в грязной побелке, узловатая ладонь раскрылась, и она улыбнулась

нежной улыбкой той девочки из далекого прошлого.

Вскоре она умерла. Денег на священника, который прочел бы отходную, не было, похоронили ее в общей могиле. В память о ней Уильям на следующий день завернул в тряпку кусок навоза, спрятал под курткой и отправился к церкви. Львы стояли там, с надменным видом, таким же, как и когда мать, еще девочкой, пыталась до них добраться. Он достал из-под куртки навоз и запустил им в морду того льва, что ближе, толстая лепеха дерьма смачно залепила элегантную морду. А теперь вот утрись, думал он, и улыбался весь неблизкий путь домой. И после этого, глядя на льва, каждый раз чувствовал удовлетворение, потому что никакой дождь в мире не мог вымыть дерьмо из львиных ноздрей.



Вскоре умер и Па, выкашляв себе дорогу в еще одну общую могилу в сырой земле Бермондси⁵. Семья осталась без главы. Старший брат Мэтти нанялся в матросы на «Оспри» и дома не был уже четыре года. Они получили весточку от него из Рио-де-Жанейро, потом, год спустя, стало известно, что его корабль потерпел крушение возле берегов Гвинеи и он теперь плавает на «Саламандре», они идут к Ньюфаундленду, и он, Мэтти, надеется, что скоро вернется домой, но

⁵ Район в центральной части Лондона.

вот уже два года от него не было ни слуху ни духу.

Когда Джеймсу сравнялось четырнадцать, он в один прекрасный день ушел за реку и не вернулся. Время от времени до них долетали рассказы о том, как он выпрыгнул в открытое окно, унося с собой серебряный подсвечник, или как по дымоходу забрался в спальню к некоему джентльмену и освободил джентльмена от часов. Так что забота о выживании остальных легла на плечи Уильяма.

Какое-то время он работал на месте отца в мануфактуре мистера Потта, но хлопковая пыль, неумолчный шум и грохот механизмов были невыносимы, а после того, как на его глазах маленького мальчишку раздавило, словно креветку, когда его послали подлезть под машину и что-то там исправить, он ушел и не вернулся. Потом работал в дубильне Уайта, таскал вонючие из-за стухшей крови шкуры из повозок к чанам, где на него кисло смотрели насквозь пропитанные химикалиями мужчины. Больше всего на свете он боялся стать таким, как они, вечно торчавшие по пояс в мерзкой жиже и уже почти утратившие человеческий облик.

Когда другой работы не было, он на солодовне сгребал лопатой жмых, из которого было выжато все возможное и невозможное, так что оставалась лишь вонючая волокнистая масса цвета детского дерьма.

Какое-то время он работал в «Неттлфолд энд Мозерз» – выметал из-под токарных станков металлические опилки и стружку, лопатой закидывал в мешки и грузил в телеги. Весь

день он взбирался и спускался по мосткам с тяжеленными мешками за спиной – мешки он с трудом удерживал обеими руками за углы, только и глядя, как бы не грохнуться. Он боялся надорвать спину или сломать позвоночник, но стружка и опилки хотя бы не воняли. По ночам мышцы на ногах все еще дрожали от напряжения.

Лучшая из работ, какая у него бывала, – это грузчиком на верфях. Вдоль реки дул свежий ветер, а пришвартованные корабли напоминали о том, что есть и другой мир – за пределами Бермондси. Здесь, в доке Слоуна, был один нищий – бывший матрос, у него на плече сидел зеленый попугай, так что сзади куртка нищего всегда была изукрашена птичьим пометом. Попугай переминался на когтистых лапах, щипал хозяина за ухо и громко вопил, когда кто-то подходил слишком близко. Это была птица из снов, однако вот она – восседала в своем ярком оперении на плече хозяина.

Он любил доки, потому что здесь всего было в изобилии. Бочонки бренди, мешки кофе, ящики чая, здоровущие бочки сахара, тюки конопли.

А когда всего столько, то кто заметит небольшую пропажу?

Как-то раз Уильям наткнулся на группу мужчин с ломиками в руках, собравшихся на третьем этаже склада. Отковырнуть крышку с ближайшей бочки оказалось делом нескольких мгновений. Дерево расколосось с таким треском, что, казалось, это было слышно по всему складу, однако один из

мужчин мастерски изобразил приступ кашля, и никто ничего не расслышал. Внутри оказались кристаллы темно-коричневого сахара. Сахара было так много, что он казался совсем не тем известным ему веществом, драгоценной горсточкой в бумажном фунтике. Он смотрел на сахар, и рот его наполнился слюной.

«Ох, – произнес один из мужчин, – какая жалость! Бочка-то разбитая!» А другой, с постным пасторским выражением на лице, добавил: «Как говорит Господь наш, расточительство премерзко». Уильям вместе с остальными протянул руку, захватил в горсть сахар и прямым отправил его в рот. Какая сладость! Эта сладость рождала еще более острую жажду сладости. Тем временем другие быстро ссыпали сахар в небольшие мешки, прятаящиеся у них под куртками, и сбежали, а Уильям все стоял и слизывал сахар с ладоней.

Над головой он слышал грохот катившихся по настилу бочек, откуда-то сбоку доносился скрип лебедок и крики грузчиков, к нему приближались чьи-то шаги. Он оглянулся, но за грудой бочек и тюков его вроде не было видно.

Мешочков под курткой у него не было, имелась только грязная фетровая шапка, так что он принялся черпать сахар обеими руками и наполнять им шапку, а когда шапка наполнилась, стал пихать сахар в карманы, но сахарная масса прилипала ко всему и не желала запихиваться.

Теперь шаги звучали еще ближе, за тюками конопли. Он сунул шапку под мышку и попятился к дальнему углу, где

мог бы отсидеться до конца дня, но стоило ему повернуться, стоило ему сунуть шапку под мышку, как прямо перед ним возникла полосатая фуфайка мистера Крокера, десятника. «Отличный трюк, Торнхилл! – возопил он. – Что, лакомство для всякой швали, да?» Мистер Крокер выбил шапку, и сахар полетел на пол. «Дурака из меня делать вздумал, да, Торнхилл?»

Но объяснение у Уильяма Торнхилла было наготове. «Бочка уже была открыта, сэр, когда я тут проходил, – сказал он. – Господом Богом клянусь». И эти слова казались вполне правдивыми, потому что он так и видел внутренним взором, как сворачивает за тюки с коноплей, видит бочку, разбитую крышку, рассыпанный кругом сахар. «Там между бочками и стеной лежало немного сахара, сэр, – продолжал он. – И какой-то дяденька кивнул, мол, я могу взять, в этом нет ничего плохого, сэр, Господь мне свидетель!» Он сам слышал, что его голос звучит вполне убедительно.

Вот только Крокер не слышал, он и слушать-то не соби-рался. Мир по Крокеру не допускал сложностей: вот мальчик с шапкой, полной сахара, рядом открытая бочка с сахаром, значит, мальчик вор.

Работа прекратилась: все наблюдали за тем, как Торнхилла гнали плеткой все сто ярдов вдоль причала Красного Льва.

Крокер задрал на Торнхилле рубашку, спустил ему штаны до колен и для начала ударил по спине. Бич, хлестнув по ко-

же, издал противный чавкающий звук, и он думал только о том, как бы убежать, но ноги путались в спущенных штанах, а Крокер не отставал ни на шаг.

Он хорошо усвоил этот урок: не попадаться. Колларбоун показал ему, как проковыривать бочонки с бренди – дырочка получалась такая маленькая и аккуратная, что ничего не было заметно. Колларбоун осторожно сдвигал обод к узкому концу бочонка, а потом там, где обод был раньше, просверливал в дереве две маленькие дырочки. Затем доставал жестяную трубочку – она состояла из двух частей, чтобы аккуратно помещалась в кармане, – и перекачивал бренди в пузыри, спрятанные под курткой. Торнхилл жадно вдыхал густые пары бренди – от одного только запаха внутри становилось тепло. Колларбоун предложил ему выпить: «Глотнешь маленько, а, Торни?», и Торнхилл глотнул, а Колларбоун выхватил у него пузырь и сделал такой большой глоток, что стало слышно, как жидкость забулькала в глотке.

Когда оба пузыря наполнились и Колларбоун закрепил их в приделанные под курткой по бокам, под рукавами, петли, он достал две заранее подготовленные щепочки и загнал в просверленные отверстия. А потом задвинул на старое место обод. «Чего глазом не видно... – и он подмигнул. – Или как там говорится в Библии, да, Торни?»



Каждый год в ноябре непременно случалось утро, когда он просыпался в какой-то особой, словно подбитой ватой тишине. Свет в комнате лился откуда-то снизу, уходил к потемневшим и прогнувшимся потолочным балкам. Он не успевал даже высунуть голову из-под одеяла, однако уже понимал, что его ожидает – снег. Снег укутывал кучи мусора, накрывал своей белизной, глушил вонь сыромятен. Это было здорово.

Но в ту зиму, когда ему исполнилось четырнадцать, река замерзла и простояла подо льдом две недели. Прямо на льду устроили зимнюю ярмарку с ирландскими скрипачами и танцующими медведями, с прилавками с горячими каштанами, и у всех мужчин и женщин от джина развязались языки. Но для тех, у кого не было ни пенни на каштаны и выпивку, ярмарка была самым тяжким временем. Раз река замерзла, значит, не было работы ни на кораблях, ни в сыромятнях.

Торнхиллы голодали в своей комнатенке на Мермейд-Корт. Мэри все подшивала и подшивала саваны, так яростно орудуя иглой, будто от этого зависела вся ее жизнь, но пальцы от холода едва слушались, потому что в окне, под которым она сидела, не было стекол – оно пропускало не только свет, но и ветер. У Лиззи разболелось горло, она лежала, стонала и тяжело дышала. Джон пытался воровать кар-

тофелины в лавке Тиррелла, а Люк стоял на стреме, и еще был Роб, бедный дурачок, он по-прежнему все улыбался, хотя радоваться было нечему.

Их спас мистер Миддлтон, этот мрачный, но, несомненно, добрый человек. Умер еще один младенец, еще один сын, который мог бы вырасти, выучиться отцовскому ремеслу и унаследовать его дело. Что-то переменялось в мистере Миддлтоне – у него больше не осталось надежд. «Он стал очень суровым, – сказала Сэл Торнхиллу. – Говорит, больше никаких деток». Она помолчала и добавила: «Никаких сыновей. Только я». Она пыталась говорить беззаботно, легко, как будто все это ничего не значило, но он слышал в ее голосе страдание.

А потом мистер Миддлтон сказал Торнхиллу, что мог бы взять его в учение. «Но запомни: никакого воровства, – предупредил он. – Украдешь хоть что-нибудь – тут же вылетишь башкой вперед». Что до сестер, то он знал человека, которому нужны были швеи для незатейливой работы, так что им удастся продержаться.



В самый сильный мороз того года, в январский день, когда переливающиеся как жемчуг облака, казалось, сами были сделаны изо льда и от холода даже было тяжело дышать, мистер Миддлтон сопровождал Торнхилла от церкви Святой

Марии на Холме к зданию Гильдии водников, где Торнхилла должны были официально закрепить за ним в качестве ученика. Он и другие мальчики ждали в длинном, продуваемом насквозь проходе, выложенном стертymi временем плитами. Они сидели на жесткой и слишком узкой скамье, холод от камней насквозь проморозил ему ноги в деревянных башмаках, но он чувствовал, что в этот день происходит прорыв из его ужасного, голодного и грязного прошлого. Мистер Миддлтон сел рядом, он все еще тяжело дышал после крутого подъема на холм, а Торнхилл вообще почти не дышал: перед ним представало будущее, на которое он и надеяться не смел.

Если он осилит семь лет ученичества, он станет полноправным членом сообщества лодочников Темзы. Людям всегда будет нужно перебираться с берега на берег, уголь и зерно всегда нужно будет доставлять к причалам от стоящих на рейде кораблей. И пока у него будет здоровье, ему больше никогда не придется голодать. Он поклялся себе, что станет лучшим из учеников, самым сильным, самым быстрым, самым сообразительным. А после семи лет, став свободным, он будет самым усердным лодочником на всей Темзе.

А когда у него будет работа, он сможет жениться на Сэл и содержать ее. Как ни крути, а мистеру Миддлтону понадобится сильный зять, чтобы помогать в деле и, что совершенно естественно, унаследовать его. Сегодня для него откроются все прежде наглухо закрытые двери!

Лестница походила на лестницу из сна – закрученная, словно кожура апельсина, вокруг хлипкой рейки, она поднималась к льющемуся с неба свету. Наверху он замер, и мистер Миддлтон почти втянул его за собой в большую комнату с турецким ковром на полу, сверкающими шандельерами, он чувствовал жар камина и смотрел на темные торжественные лица на развешанных по стенам портретах.

Он стоял позади мистера Миддлтона, который выглядел еще строже и суровее, чем прежде, вытянувшись, словно дворцовый гвардеец, лицом к большому столу из красного дерева, за которым восседали с полдюжины мужчин в мантиях. Один из них, тот, у которого на плечах лежала тяжеленная бронзовая цепь, сказал: «Доброе утро, Ричард, как поживает миссис Миддлтон?» И мистер Миддлтон сдавленным голосом ответил: «Терпимо, мистер Пайпер, не на что жаловаться».

Торнхилл никогда не слышал, чтобы кто-то обращался к мистеру Миддлтону по имени, да и не видел его таким скованным от волнения и смирения. И он понял, что эти люди, сидящие за столом из красного дерева, настолько возвышались над мистером Миддлтоном, насколько мистер Миддлтон был выше него. И на него вдруг снизошло понимание того, как люди возвышаются друг над другом – один за другим, от Торнхиллов в самом низу до короля, или Господа Бога, на самом верху, и каждый выше другого или ниже другого, и от этого понимания его даже затошнило.

Человек с цепью спросил: «Кто этот малый, Ричард?» – и мистер Миддлтон тем же сдавленным голосом ответил: «Это Уильям Торнхилл, ваша светлость, и я здесь, чтобы поручиться за него». А другой человек спросил: «Умеет ли он обращаться с веслом?» – и невысокий человек на конце стола добавил: «У него руки-то к реке приспособлены?»

Голос у мистера Миддлттона стал повеселее – теперь он был на своей территории: «Да, мистер Пайпер, он на той неделе греб от причала Хея до Сафферанс-дока и от старой лестницы Уоппинга до пристани Фреша». И человек с цепью воскликнул: «Молодчина!» – как будто разговаривал с каким-нибудь мальцом, но мистер Миддлтон никак не отреагировал на это восклицание, словно для него было совершенно нормально, что с ним вот так обращаются, от чего Торнхилл испугался еще больше.

Языки пламени из камина почти обжигали. Он никогда в жизни не стоял подле такого большого огня, никогда не знал, что может быть так горячо, у него чуть штаны не задымились. Но он не мог сдвинуться вперед, это было бы неуважительно по отношению к джентльменам в мантиях. Он полагал, что это часть испытания, что-то, что он обязан перенести, как и взгляды этих джентльменов, которые, если им того захочется, могут ему отказать.

Мистер Пайпер повторил: «Молодчина», но он был такой старый, весь аж трясся от старости, что было ясно, что он совершенно забыл, кто именно молодчина – он даже похло-

пал себя по руке, как если бы поздравлял сам себя.

Тогда лысый человек сказал, обращаясь уже к самому Торнхиллу: «Руки все стер, а, сынок?» И Торнхилл не знал, что ему говорить – да или нет, и следует ли вообще что-то говорить. Ладони у него все еще были опухшие от тяжелого испытания, которому его подверг мистер Миддлтон, но уже не кровили. Он молча протянул их людям за столом, и они рассмеялись.

Лысый сказал: «Хороший парень, руки у него уже как у настоящего лодочника, да, джентльмены? Что ж, лицензия вам выдана». Дело сделано.



Мистер Миддлтон оказался добрым хозяином. Впервые в жизни Торнхилл не испытывал голода и холода непрерывно. Спал он в кухне, на выложенном плитняком полу – раскладывал набитый соломой матрас, подъем и сон диктовал прилив.

Приливы и отливы – вот кто был настоящим тираном. Они не ждали никого, и если лодочник, которому надо доставить уголь вверх по реке, пропускал прилив, никто, даже такой силач, как Уильям Торнхилл, ничего не мог поделать – гребти с грузом против течения было невозможно, и приходилось целых двенадцать часов ждать следующего прилива.

Кровавые мозоли на ладонях не заживали никогда. Вол-

дыри росли, прорывались, потом снова росли и прорывались снова. Ручки весел на «Надежде» потемнели от его крови. Мистер Миддлтон одобрительно кивал. «Только так, парень, ты наработаешь руки речника», – говорил он и давал ему топленое сало, чтобы втирать в ладони.

Семь лет – это казалось вечностью, но и научиться надо было многому. Как ведет себя река во время приливов и отливов на участке от Уоппинга до Ротерхита, где течение заворачивает к Хейз-Роуд и где человека, если он упадет за борт, мгновенно утянет на дно – столько там водоворотов. Как течения мотают лодку возле Челси-Рич, потому что, как говорят, здесь когда-то утонули несколько скрипачей, и с тех пор река в этих местах пляшет. Как весло длиной в четыре человеческих роста берет верх над своим хозяином. Как, наклонив поворотом кисти лопасть, выдернуть весло из носовой уключины, промчаться с ним по узкому планширу на корму и, навалившись на рукоять всем весом, вставить его в кормовую стойку.

Порой он забывал, что всему этому ему приходилось учиться.

Но он узнавал и многое другое. Вот, например, про благородных господ. Как они торговались за каждый фартинг в выражениях длинных и цветистых, постоянно называя его «мой добрый друг», а если у пристани было много лодок, а фартингов в кармане мало, то небрежным жестом отменяя его услуги и нанимая того, кто подешевле. Как вынужденно

соглашаться везти их от Челси к Святой Катарине у Тауэра всего за два пенни, лишь бы не возвращаться домой совсем без заработка. Как дурачатся на пристанях актеры, направлявшиеся в театры в Ламбете, – они заставляли лодочника ждать, ровно удерживая лодку, при этом они на него даже и не смотрели, и всю дорогу проговаривали свои реплики, как будто были одни на белом свете, а лодочник – только часть пейзажа.

Он узнал, что у благородных имеется столько же трюков, чтобы надуть бедного лодочника, сколько их есть у крыс. Как-то он перевез одного через реку, этот господин приказал ему ждать – мол, скоро вернется, надо будет везти его обратно, и тогда уж он заплатит сразу за оба конца. Торнхилл прождал пять часов, не хотелось ему терять обещанный шиллинг, и только потом понял, что этот пройдоха просто нанял на обратный путь другого лодочника.

Так что больше он господам на слово не верил.

Но и лодочнику тоже надо было знать свои хитрости: например, когда пассажиры собираются на пристани Уайтхолл, желая, чтобы их перевезли к Воксхолл-Гарденз, и когда они захотят возвращаться домой. Или знать, когда идет мерлуза, чтобы отвезти джентльменов к «Доброму другу» или «Капитану», где они будут сидеть за столами у самой реки и набивать брюхо, и тут уж лодочнику самому решать, то ли ждать, то ли вернуться к пристани Корниш в надежде, что там удастся подцепить джентльмена, желающего, чтобы его

отвезли в загородный дом в Ричмонде.

Как лучший на реке подмастерье, Торнхилл знал, как обращаться с джентльменами. Он приветствовал их громко и весело, и его крик перекрывал заунывные вопли других лодочников. «Сюда! – орал он. – Сэр, приглашаю на борт “Надежды”, лучшего судна на этой реке!» – и размахивал старой шапкой. У него была густая блестящая шевелюра, служившая ему лучше всякой шляпы, и он знал, что, увидев эти энергичные кудри, вряд ли кто усомнится в жизнеспособности всей остальной системы. Он отчаянно жестикулировал, как комики, которых видел в мюзик-холле: «Лучшая лодка во всем христианском мире, сэр! С ней ни одна лодка сравниться не может!» – и указывал на украшавший его рукав значок Доггетта⁶, говоривший о том, что он выиграл гонку учеников. «Отсюда до Грейвсенда за два часа без четырех минут, а до Биллингсгейта, сэр, доставлю вас так быстро, что вы и табакерку открыть не успеете!»

Благородные господа казались ему созданиями еще более загадочными, чем ласкары⁷, и он очень удивился бы, что ими движут те же импульсы, что и другими человеческими существами. Как-то раз он стоял по задницу в воде, удерживая

⁶ *Знак Доггетта* – большой овальный серебряный значок победителей в гонках лондонских лодочников. Впервые такое соревнование, придуманное комедийным актером Томасом Доггеттом, состоялось в 1715 г. Соревнования на приз Доггетта проводятся и по сей день.

⁷ *Ласкары* – солдаты и матросы из Индии, Юго-Восточной Азии и арабских стран, служившие в европейских армиях и флоте.

лодку возле ramпы, чтобы пассажиры могли пройти, не замочив ног. Он едва глянул на них, когда они его поприветствовали, думая только о том, как бы заработать и вернуться, наконец, в теплую кухню мистера Миддлтона. Ноги у него онемели от холода, да и выше пояса он тоже замерз до смерти, потому что насквозь промок под дождем, а ветер в тот день задувал холодный. Он чувствовал запах собственных мокрых волос. От них пахло псиной – запах мокрой шерсти от его синей куртки и красного фланелевого жилета, который вручил ему мистер Миддлтон: тому больше не было нужды самому надевать этот жилет, потому как у него теперь имелся сильный подмастерье, делавший за него всю работу. На реке было сильное волнение, и лодка била его по ногам, пока он стоял в воде, держась обеими руками за планшир, и тут он услышал, как джентльмен произнес богатым аристократичным голосом: «Осторожней, любовь моя. Не показывай ножки лодочнику!»

Джентльмен был белолиц, хлипок в груди, ротик у него был словно маленький розовый бутон. Из-под шляпы свисали длинные локоны, и он бережно усаживал в лодку свою даму, придерживая ее за руку и за талию. И все равно он успел бросить на Торнхилла, стоявшего в грязной воде, вцепившись промерзшими руками в планшир, взгляд не столько презрительный, сколько триумфальный. «Глянь на меня, приятель, вот что у меня имеется!» – говорил этот взгляд. И обтянутые белым шелком ножки, и все, что к ним приде-

лано, есть собственность джентльмена, в то время как у Уильяма Торнхилла собственности никакой, кроме разве сужившейся от бесчисленных дождей черной шапки, сидевшей у него на затылке как прыщ на слоновьей заднице.

Судя по виду, джентльмен понятия не имел, что делать с женскими ножками, но обнимал даму, хотя и без всякого удовольствия: дама, ее белые чулочки, шелковые туфельки и все такое прочее, была предметом его гордости, гордости обладателя, но в том, как он произносил «любовь моя», любви-то не было ни капли.

Но нога – нога-то была, как раз на уровне глаз лодочника, она переступила через планшир так близко, что лодочник мог бы, если б захотел, до нее дотронуться, почувствовать пальцами шелк. Туфелька, венчавшая ногу, была чудом, непонятно каким образом оказавшимся на старом грязном причале Хорслидаун. Было совершенно невероятно, что столь внушительная особа могла стоять и передвигаться в таких крошечных башмачках из ярко-зеленого шелка. Задников у туфелек не было, зато были маленькие каблуки, придававшие щиколоткам особое изящество, и когда она ступила на корму, ножка была повернута так, что взгляд Торнхилла не мог не заметить изгиб щиколотки, узкую пятку, элегантность каблука.

Там, где-то над ногами, было лицо, рот на нем поблагодарил мужа – «любовь мою» – за заботу, но само лицо выглядело скучающим, словно его обладательница давно уже не

ждала от супруга никаких радостей, кроме этой жеманной галантности.

На Торнхилла она не смотрела, на него смотрела ее ножка, она приоткрыла ее специально для него. Может, показывая ножку простому лодочнику, она надеялась расшевелить своего вялого муженька? Или это делалось для ее собственного удовольствия, как напоминание о том, что на свете существуют и другие мужчины, которые, завидев дамскую ножку, знают, как с ней обращаться?

Но тут джентльмен одернул ей юбку и влез в лодку – каким-то образом ему удалось втащить и супругу, при этом он чуть ли не сел задом Торнхиллу на физиономию. Торнхилл помочь пассажирам не мог, так как обеими руками еле удерживал суденышко, а когда вскарабкался на борт, мокрый и дрожащий от холода так, что его собственные ноги едва слушались, пассажиры уже сидели на корме, и белая юбка прикрывала зеленые башмачки.

Владелица ноги произнесла: «Генри, дорогой, боюсь, моя туфелька совсем испорчена». Она вытянула ногу. И действительно, зеленый шелк промок, и маленькая оборка, украшавшая перед туфельки, печально повисла. Юбка была задрана почти до колен, и к северу от туфельки лежали тени, в которых притаились прелести, о коих мужчина мог вполне догадываться.

«Любовь моя, – на этот раз голос джентльмена звучал резко. – Ты снова выставила ногу!»

Теперь дама определенно смотрела на Торнхилла, и, Господи Боже мой, это был откровенно дразнящий взгляд, но он промелькнул так быстро, что никакой муж не мог бы ни к чему придраться. Взгляды, которыми они обменялись, были взглядами двух живых существ, мужской и женской особей одного вида и одной крови.

Денди обвил руками плечи супруги, хотя, на взгляд Торнхилла, этот жест не обещал ей ничего интересного даже среди пышных кустов Воксхолл-Гарденз, когда они туда, наконец, добрались.

В любой битве за выживание с этим Генри – Торнхилл прекрасно это сознавал – он всегда выйдет победителем, например, случись кораблекрушение, денди скиснет и умрет, в то время как он сам – грубиян и все такое – найдет способ преуспеть. И все же на этом пустынном лондонском острове, в этих полных опасных созданий джунглях в год от Рождества Христова тысяча семьсот девяносто третий, Торнхилл был в полной зависимости от таких жеманных педиков, которые смотрели на него, но не замечали, как не замечают они швартовую тумбу.

Надо сказать, не все господа были такими; у него имелось несколько постоянных клиентов, которые говорили с ним на равных – капитан Уотсон, например, который всегда выбирал именно его на причале в Челси и с которым у него было договорено, что по средам он утром возит капитана к даме сердца в Ламбет. Для капитана он удерживал лодку изо всех

сил, потому как капитан был человеком дородным и ему было непросто сходить по трапу, да и когда клиент помещал свой зад на корму – зад настолько увесистый, что трудновато было отталкиваться от берега, – Торнхилл все равно не жаловался, потому что капитан был человеком хорошим и не в обычае у него было торговаться с бедняком из-за нескольких пенсов.

Речнику и головой приходилось все время работать, потому что, едва проснувшись и еще не встав с постели, он уже чувствовал, что там с рекой, с приливами, ветром. Он вычитывал это в цвете неба на рассвете, в криках носившихся над водой птиц, в том, как во время прилива шла волна. И он мог определить, к какому причалу швартоваться, чтобы заработать в этот день как можно больше.

Со временем эта мутная река и корабли, которые она несла на себе, словно собака блох, стала для него как большая комната, в которой он знал каждый угол. Он полюбил бледный свет, разливавшийся по воде, на фоне тусклого неба все неважное, незначительное куда-то исчезало. На Хангерфорд-Рич он сушил весла и сидел, отдавшись течению, он знал, что оно принесет его куда надобно, и смотрел вдаль, на воду, где все было словно нарисовано этим светом.



Иногда по воскресеньям он, по соглашению с мистером

Миддлтоном, не работал, и они с Сэл могли побыть вместе. Ему нравилось находиться рядом с ней, нравилось чувствовать, как где-то там, в глубине, под кожей, пляшут его мысли, которыми он не мог поделиться ни с кем, а ей мог рассказать абсолютно все, признаться в чем угодно, рассказать всякую, даже стыдную, правду. Она выслушала бы и ответила в своей привычно-добродушной манере.

В ту первую зиму ей взбрело в голову научить его буквам, совсем как учила ее мать. Он согласился, только чтобы ее порадовать, но без особой охоты. Ему казалось, что все эти марашки на бумаге иссушают мозг. Он видел, как Сэл записывает что-то для памяти – список того, что надо купить у мануфактурщика или в бакалее, сам-то он мог запросто удержать все в голове. И цифры тоже. Он видел многих джентльменов, которым, чтобы подсчитать, сколько будет стоить до Ричмонда и обратно, приходилось вытаскивать из карманов карандаш и клочок бумаги, особенно если подсчеты были сложные – два человека туда, один обратно, да еще пакет туда, а если по воскресному тарифу... Он же, неграмотный лодочник, еще пока джентльмены рылись в поисках бумажки, уже успевал сложить всю сумму у себя в голове, да еще накинуть десять центов за обслуживание и шестипенсовик в благотворительный фонд.

Они занимались, сидя рядышком за столом, в неровном свете воткнутой в подсвечник свечки. Он чувствовал ее фруктовый женский запах, этот сладкий аромат заставлял

вспомнить о лете, о забытой в деревянной коробочке клубнике. Она наклонилась к нему и сказала: «Нет, не надо пока макать в чернила, просто держи – видишь? – как я держу», – и протянула свою маленькую ручку, показывая, как надо держать перо.

Он пытался, и это было неестественно, движения требовались осторожные до бешенства. Бессмысленные какие-то. Совсем не то, что требовалось, чтобы удержать весло – там он его просто обхватывал всей пятерней, и дело с концом. А чтобы удержать перо, требовалась акробатическая ловкость – и пальцами, и кистью, да еще руку по-дурацки вывернуть. Перо крутилось, выскакивало у него из пальцев. Он возился с этим пером, только чтобы ей угодить.

Потом они окунули кончик пера в чернила, и стоило ему поднести перо к бумаге, как оно принялось плевать, и по скромной белой бумаге побежали наглые черные кляксы. Сэл расхохоталась, и он едва сдержался, чтобы в ярости не перевернуть к дьяволу этот стол и не рвануть к реке. Вот там он был самим собой. Он мог пройти на веслах к Ричмонду и обратно против течения. Он выиграл приз Доггетта, а ветрище в тот день, между прочим, был ужасный, и все равно он всю дорогу шел на корпус впереди Льюиса Блэквуда. Он не позволял мыслям разбегаться, сосредоточившись исключительно на том, что делали руки. Он тогда пришел к финишу, на десять ярдов опередив Блэквуда, и почувствовал, что выдержит любое напряжение и любую нагрузку.

Вот только не может никак усидеть за столом и удержать эту верткую штуковину.

Сэл посмотрела на него и поняла, что сейчас ему точно не до смеха. Она вытерла чернила со стола, с бумаги, с пера, с его пальцев. А потом нанесла на бумагу точки в форме буквы «Т». «Просто иди по точкам, Уилл, – сказала она. – Мы пока букву “У” трогать не будем». Он провел робкие линии через точки, изо всех сил стараясь удержать непослушное перо. В первый раз промазал: кривая горизонтальная линия выступила за точки. Он провел вторую линию, внимательно следя за чернильным следом. Шаткая, неуверенная, но все равно вот они была перед ним – две линии, буква «Т».

Только теперь он понял, что все это время сидел, высунув кончик языка, помогая языком выводить букву. Он откинулся назад, облизнул губы, положил перо и произнес голосом, который и ему самому показался скрипучим: «Хватит на сегодня». Сэл снова глянула на бумагу с кляксами: «Ох, Уилл, ты только погляди! Как здорово у тебя получилось, гораздо лучше, чем вначале!»

Он потерял руку, которую даже свело от усилий. На его взгляд, каракули выглядели постыдно, какие-то дурацкие закорючки. Больше всего ему хотелось разорвать листок в клочья. Но она подталкивала его локотком, а ему так нравилось чувствовать рядом ее руку, да тут она еще произнесла: «Обещаю, – и произнесла так легко, словно и обещать-то не стоило, словно это само собой разумелось, – обещаю, что к сле-

дующему воскресенью ты и это “У” напишешь, просто, как нечего делать».

Зима миновала, и вот он уже мог написать имя целиком: «Уильям Торнхилл», медленно и ровно. А поскольку никто не видел, как он это делает, то никто и не знал, сколько времени это у него занимало, и сколько раз он ловил себя на том, как кончик языка помогает перу.

Уильям Торнхилл.

Ему ведь всего шестнадцать, а в его семье еще никто не добивался таких успехов.



Любовь пришла к нему так неторопливо, что он даже не сразу сумел назвать это чувство. Все годы ученичества он знал только, что, когда ветер на реке пробирался сквозь старую выношенную куртку, его согревала мысль о ней, сидящей подле матушки, вдевающей для нее нитку в иголку и складывающей уже подшитые рубашки и носовые платки. Он дивился ее ловким пальцам, подворачивавшим белоснежные квадраты легкими мелкими движениями, такими скорыми, что и не углядишь. Только что был махристый обрезанный край, а вот он уже скручен, свернут, чудом превращен в аккуратный рулончик, и все это пока матушка даже еще не успела и на иголку посмотреть.

Он не знал, что это такое – то, что делало его внутри та-

ким мягким и тихим, от чего – он ясно ощущал – его лицо при мысли о ней разглаживалось, почему он думал о ней целыми днями, а потом вечерами, когда шагал по ступеням пристани и вода хлюпала у него в башмаках. Он лежал на своем соломенном матрасе на кухонном полу, поджидая, когда придет сон, и мысль о том, что она тоже здесь, над ним, в своей комнатенке под крышей, заставляла его горло сжиматься. Иногда, случайно столкнувшись с ней в доме, он не мог и слова вымолвить в ответ на ее приветствие. А она восклицала: «Ой, Уилл!» – как будто удивлялась тому, что этот широкоплечий отцовский ученик возникал вдруг на пороге, заполнив собой весь дверной проем и наклонив голову, потому что дверь была слишком для него низкой. Она, разговаривая с ним, дотрагивалась до него, клала руку ему на рукав, и он еще долго потом ощущал прикосновение ее маленькой ручки, словно эта ручка что-то сообщала ему сквозь грубую ткань куртки.

Ротерхит теперь разросся – здесь тоже появились и сырмятни, и бойни, и жилые дома на месте пустынной заболоченной равнины, где двое детей когда-то находили себе убежище. Отсюда согнали даже цыган. Но они все-таки обнаружили для себя новое местечко – Церковь Христову в Боро, задами выходящую к реке. В хорошую погоду двое всегда могли найти уединение среди могил.

Радуюсь возможности побыть вместе, перешептываясь, они сидели, прислонясь к надгробьям, и Сэл читала то, что

на них написано, медленно, по одному слову. А он должен был запоминать те слова, что она уже прочитала, тоже по одному, потому что это было непросто – и прочитать, и запомнить все сразу.

Голос Сэл был особенно нежен, когда она распутывала эти узелки слов: «Сюзанна Вуд, супруга мистера Джеймса Вуда, изготовителя измерительных инструментов, – произносила она. – У нее откачивали жидкость девять раз, и всего из нее вышел сто шестьдесят один галлон воды, а она ни разу не пожаловалась на болезнь и не боялась операции». – «Ну прямо как мех для вина», – пробурчал Торнхилл, и Сэл едва сдержала смех. «Ох, Уилл, – сказала она. – Только подумай об этой бедняжке, а мы над ней смеемся!» Она взяла его за руку, и он почувствовал, какая мягкая и маленькая у нее ручка и как она умещается в его грубой клешне. Она улыбнулась, и он увидел ямочку у нее на щеке – одну, словно само лицо ее ему подмигивало.

Он уставился на реку, где прилив начинал гнать воду вверх, и силился найти слова, которые лежали у него на сердце. «В общем...» – начал он, и почувствовал себя дураком, продолжить никак не получалось. Он начал заново, и сам услышал, как громко и решительно звучит его голос: «Скоро меня сделают членом гильдии, и первым делом я на тебе женюсь». И тут же подумал, что она наверняка его высмеет – чтобы подмастерье с Таннерс-Лейн да сказал такое! Но она и не думала смеяться.

«Да, – сказала она. – Я подожду». Она смотрела ему в лицо, на этот раз без улыбки. Он видел, как она сначала посмотрела ему в глаза, потом перевела взгляд на его рот, потом снова заглянула в глаза, читая за его словами ту правду, что была написана в его сердце. И он тоже смотрел ей в глаза, так близко, что видел в них маленькие отражения себя самого.

Семь лет будет длиться его служение. Время пройдет само по себе, и перед ним откроется совсем другая жизнь.



Они поженились в тот же день, как он стал свободным лодочником, накануне того, как ему исполнилось двадцать два. Мистер Миддлтон подарил им на свадьбу свой второй ялик, и они сняли комнату неподалеку от Мермейд-Роу, там муж и жена могли наслаждаться куда большей свободой, чем за могилой Сюзанны Вуд.

Сэл оказалась в постели куда смелее, чем он. В первую ночь она прижалась к нему, говоря, что боится темноты. Взяла его руку – ей, мол, нужна поддержка. Он чувствовал ее тепло, слышал ее шумное дыхание. Им нужно было вести себя тихонечко, потому что стены были тонкие, как бумага. Кашель мужчины, занимавшего соседнюю комнату, слышался так явственно, будто он лежал с ними в постели.

То, что произошло потом, не было громким и не требо-

вало усилий. Все произошло как бы само собой – семя, пробившееся сквозь почву, бутон, развернувшийся в цветок.

Ночь стала лучшим временем суток. Теперь, когда у них была своя постель, она любила свернуться у него под боком клубочком, свеча горела на табуретке. Ее груди ласкали его, и он был одновременно и шокирован, и возбужден. Она очищала мандарин и скармливала ему дольки прямо из своего рта, и когда они завершали все то, что надо было сделать и с мандаринами, и со ртами, а свеча догорала в лужице сала, они лежали рядом и рассказывали друг другу всякие истории.

Сэл любила рассказывать о Кобхэм-холле, где ее матушка была в служанках до того, как вышла за мистера Миддлтона, и где она еще девочкой целый месяц прожила вместе с матерью. Что-то врезалось ей в память – подъездная аллея, зеленый туннель из тополей. Накрахмаленные, жесткие, словно кожаные, скатерти из дамаска – даже на половине слуг. И правила, согласно которым надо все делать. Там был виноградник, рассказывала она, и несколько раз в столовой для слуг подавали виноград. Как-то раз она отщипнула с кисти виноградину, и экономка ее выбрала: «Ешь, что хочешь, сказала мне старая гримза, но никогда не уродуй кисть. Возьми ножницы для винограда и просто отрежь маленькую кисточку, – она повернулась к Торнхиллу и прошептала: – Только представь, Уилл, специальные ножницы для винограда!» Торнхилл пробовал виноград – раздавлен-

ные кисти, валявшиеся в грязи после того, как закрывался рынок.

Торнхиллу больше нравилось, когда они рассказывали друг другу о совместном будущем. У них, конечно же, будут свои дети, и их отец, вольный член гильдии лодочников реки Темзы, будет вести достойную жизнь и много работать и станет партнером ее отца.

Торнхилл с трудом верил в то, что жизнь его совершила такой поворот, и о том, что все происходит на самом деле, напоминала только постоянная боль в плечах да мозоли на ладонях. Нет, все это не походило на сказку – то, что с ним случилось, было наградой за труд. Он лежал в темноте, слушая, как Сэл рассуждала, кого ей хочется первым – мальчишка или девочку, и потирал свои мозоли, словно они были дорогими сувенирами.

Семь лет в качестве перевозчика благородных господ с берега на берег отвратили Торнхилла от этой работы. Став свободным гребцом, он предпочел работать на лихтерах, перевозивших уголь или древесину. Немногим хватало сил управлять тяжело груженной плоскодонной лодкой в капризных водоворотах Темзы, но он справлялся. Тяжелой работы он не боялся никогда, а этот труд был честнее и чище, чем кланяться перед господами за несколько лишних пенсов.

Это также означало, что он мог взять в помощники брата. У Роба, конечно, с головой было не все в порядке, но зато он был на реке самым сильным и самым послушным. Когда Роб

взваливал на плечи мешок с углем, его мышцы напрягались так, что задняя пуговица на штанах грозила отскочить. Но он соглашался работать весь день за плату, которой хватало только на то, чтоб не сдохнуть с голоду.

Вместе Торнхиллы составляли отличную пару.



Через год после свадьбы родился ребенок, крепенький здоровый мальчик. Он плакал, орал, производил гигантское количество желтовато-коричневых какашек, а когда его распеленывали, писал крутой дугой. Его окрестили Уильямом, но звали Уилли. Еще один Уильям Торнхилл – что ж, мир переживет эту напасть, тем более если это твой собственный сын.

Ребенок размахивал перед Торнхиллом ручками, будто посылал тайные сигналы, моргал, тарачился на склонившуюся над ним фигуру, указывал на нос отца крошечным пальчиком, словно что-то заявлял. Четко очерченный красный ротик все время двигался, губки выпячивались, растягивались, надувались, кулачки мелькали в воздухе, выражение личика постоянно менялось, словно волны в океане.

Ему нравилось брать сына на руки, чувствовать его вес на своей груди, то, как обвивают ручки его шею, ощущать невинный запах его волос. Ему нравилось смотреть на Сэл, как она, улыбаясь про себя, сидит у окошка и шьет очеред-

ную маленькую рубашечку или как, воркуя, склоняется над мальчиком. Он слушал, как она, возясь по дому, что-то напеваает. Мелодия ускользала от нее, но для Торнхилла эта нестойкая мелодия была музыкой его новой жизни. Он часто улыбался про себя.



Та зима, когда малышу сравнялось два годика, выдалась ранней и суровой. Торнхилл никогда еще не видел таких туч и не сталкивался с такими ветрами. И ветер, и тучи всегда были врагами лодочников, но в тот год что вверх, что вниз по реке только и говорили о суровости ветра и холода. Да, зима будет трудной.

Собравшиеся над головой облака пролились дождем, и куртка Торнхилла, при легком дождичке отталкивавшая воду, промокла насквозь, резкий ветер, дувший вдоль реки, словно ножом пронизывал старую выношенную ткань. Ветер хлестал по щекам, лицо покраснело, опухло, закаменело. Он испытывал те же мучения, что и любой человек, но не жаловался. Какой смысл жаловаться на погоду? Такой же, как на то, что он родился на Таннер-Корт в Бермондси в сырой вонючей конуре, а не на Сент-Джеймс-сквер с серебряной ложкой во рту, на которой выгравировано его имя.

Так что его почти отпустило, когда в начале января вода выше Лондонского моста подернулась жемчужной пленкой,

словно облачный налет на старческих глазах. В одно прекрасное утро река превратилась в пространство, покрытое грубым серым льдом, и лодки застряли в нем, как кости в застывшем жире. Втроем они забрались в постель и провели все это время, греясь друг о друга. Жили на деньги, отложенные на такой вот случай, растягивая их в ожидании оттепели.

В этот морозный месяц, когда река перестала кормить семью, мир Торнхилла лопнул по швам.

Сначала сестра Лиззи свалилась с ангиной, такой, какая была у нее в детстве. Она лежала вся красная, задыхалась и плакала от боли в горле. Лекарство стоило шиллинг за пузырек, маленький такой пузырек, и сколько нужно было таких шиллингов...

Потом миссис Миддлтон поскользнулась на льду возле входной двери и упала, сильно ударившись о ступеньки. Что-то там, внутри у нее, сломалось и не желало заживать. Она лежала, вытянувшись и побелев от боли, плотно сжав бескровные губы, и отказывалась от еды. Несколько раз звали хирурга, он брал по три гинеи за визит, но про него говорили, что он лучший по этой части.

Мистер Миддлтон все время проводил у постели жены, обливаясь потом в жарко натопленной комнате, потому что в тепле бедной женщине становилось немного легче. Новый ученик, понадеявшийся, пока река стояла, на небольшой отдых, непрестанно таскал по лестнице уголь.

Недели шли за неделями, мистер Миддлтон сильно поху-

дел, вокруг глаз у него появились черные круги. Компанию ему теперь составлял постоянный легкий кашель. Когда Торнхилл и Сэл приходили их навестить, они уже от входа слышали этот кашель и знали, что мистер Миддлтон сидит подле жены и либо гладит ее по голове, либо вытирает ей лоб пропитанной камфарой салфеткой.

Лицо у него оживало, только когда он придумывал, чем бы таким вкусеньким соблазнить жену. Придумав, он тут же вскакивал и мог отшагать мили, только чтобы принести ей вишен в бренди или фиг в меду.

Как-то раз Торнхиллы встретили его на выходе – день был такой морозный, что, казалось, брусчатка на мостовой трескается от холода. Он собрался в аптеку на Спитафилдз за зельем из апельсинов и корицы – кто-то сказал, что это может помочь. Сэл пыталась его разубедить, а Торнхилл развернул его, чтобы завести обратно в дом, сказав, что сам ходит. Но тот выказал удивительное упрямство и отверг помощь зятя. Сэл и Торнхилл обменялись взглядами – они оба подумали, что, наверное, мистер Миддлтон больше не в состоянии провести еще один день у постели жены, протирая камфарой ее восковое лицо. Когда он вышагивает по промерзшим улицам, ему кажется, что он хотя бы пытается сделать что-то полезное – пока не возвращается домой и не пытается накормить жену этими апельсинами: она пробует чуть-чуть и снова отказывается есть.

Так что они позволили ему уйти. Торнхилл смотрел, как

он спешит по переулку, как у него изо рта вырываются клубы пара. Эти облачка были такими плотными, что могли бы следовать за ним, однако не следовали – а он казался таким маленьким на фоне огромных сугробов.

Домой он вернулся уже затемно, бледный и молчаливый. Достал из кармана куртки, которую даже не снял внизу, перед тем как подняться по лестнице, микстуру и попытался напоить жену. Она слабо улыбнулась, приподняла голову, чтобы попробовать немного с протянутой им ложки, затем в изнеможении снова откинулась на подушку и отказалась выпить еще.

Сэл увела его в кухню, где, наконец, выпростала его из куртки и теплого кашне. Он послушно уселся и уставился в горевший в очаге огонь. Она встала на колени, чтобы снять с него ботинки и вскрикнула – ботинки промокли насквозь, ноги у него совершенно заледенели. Он пояснил, что по дороге набрал в ботинки снега, и пока ждал, когда аптекарь приготовит снадобье, снег растаял, так он и шел в промокших башмаках домой.

После ужина он расчихался, и на следующее утро у него начался жар, он потел, но мерз под четырьмя одеялами, и беспокойно метался по подушке. Снова позвали лекаря, теперь уже для мужа. Врач дал ему какое-то темно-коричневое и густое лекарство из маленькой бутылочки, после чего он заснул беспокойным сном, все время вскрикивая и пытаясь вскочить. Несмотря на лекарство, лихорадка не отпускала.

Щеки у него были пунцовые, кожа сухая и горячая на ощупь, язык покрылся серым налетом, глаза ввалились.

Через неделю он умер.

Когда об этом сказали миссис Миддлтон, она вскрикнула – это был ужасный хрипящий звук. Потом отвернулась к стене и не произнесла больше ни слова. Сэл проводила с ней рядом дни, спала в изножье материнской кровати. Врача звали снова и снова, пока весь стол у постели не был уставлен пузырьками со снадобьями и пилюлями. Но путь миссис Миддлтон к смерти не могли преградить никакие врачебные ухищрения. С каждым днем она словно становилась все меньше, глаза все время были закрыты, будто она больше не могла смотреть на белый свет, она ускользала из своего тела.

И наступил серый рассвет, когда она больше не шевельнулась под своим одеялом. Ее положили в гроб и отвезли в похоронную контору Гиллинга, где она вместе с мистером Миддлтоном ожидала, когда земля оттаяет, и их обоих смогут похоронить.

Мистер Миддлтон делал все правильно, так, как делал бы на его месте любой. Он жил экономно, откладывал впрок. Вкладывал средства в хорошие лодки и содержал их в порядке, следил, чтобы подмастерья работали на совесть и были честными. Дело у него шло хорошо, и на жизнь никто не жаловался.

Но после его смерти все начало рушиться с ужасающей

скоростью. Этот морозный месяц поглотил все его сбережения. Каждый день приходил врач, и редко какой визит обходился без рецепта на новое снадобье по фунту за пузырек. Кладовая была забита нетронутыми горшками с вишнями в коньяке и фигами в меду. Река стояла подо льдом, и у подмастерья не было работы, но все равно его надо было кормить, а уголь, который он таскал наверх, тоже стоил пять фунтов за мешок.

Но, что самое ужасное, хозяин дома каждый понедельник присылал своего человека за арендной платой, а тому было все равно, замерзла река, или нет, есть работа, или нет работы.

Дом на Суон-Лейн всегда казался Торнхиллу крепостью, защищавшей от нужды. Что дурного может случиться с человеком, у которого имеется кусок земли и строение на нем? Если у человека есть крыша над головой, он непобедим – всегда есть, где переждать трудные времена.

Что дом не в собственности, а только арендуется, Торнхилл понял гораздо позже. А когда понял, то у него словно что-то от души оторвалось, оставив зияющую лакуну. Дом на Суон-Лейн, всегда такой теплый, такой надежный, оказывается, мало чем отличался от убогих обиталищ, в которых прошло его детство.

Чтобы заплатить долги за дом, пришлось распродавать мебель. Сэл и Торнхилл наблюдали за тем, как выносили кровать, на которой умерла миссис Миддлтон. Когда и этого

оказалось недостаточно, бейлифы пришли за лодками. Сначала отобрали «Надежду», на которой работал ученик, и тому пришлось искать нового хозяина, чтобы отработать положенное для ученичества время. Потом забрали и вторую лодку, потому что Торнхилл ничем не мог доказать, что это был свадебный подарок. К тому моменту река только-только оттаяла, Торнхилл проработал всего неделю, и теперь он смотрел, как судебные приставы взяли его лодку на буксир. То, чем он зарабатывал на хлеб, то, что составляло основу его существования, исчезло под мостом Блэкфрайарс. Отныне он станет наемным работником, гребцом на чужих лодках, со страхом гадающим, будет ли завтра работа для него или нет.

Он сидел на Бычьей пристани и смотрел на красные паруса, на то, как надувались они, когда моряки, следуя речным изгибам, меняли галс. Был прилив, и поверх речной воды, рябой, вспененной, суровой, устремлялись иные потоки, иная пена – вода моря. Он смотрел на прилив и думал о том, что река будет продолжать этот свой танец – шаг вперед, шаг назад – и после того, как Уильям Торнхилл и все, что его терзает, будут похоронены и забыты.

Какой смысл в стремлениях и надеждах, если все может так легко пойти прахом?



Сэл держалась до последнего. Она сидела с отцом все время, пока он болел, растирала ему ступни, которые, несмотря на лихорадку, были ледяными. Когда он умер, губы у нее сжались в угрюмую гримасу, словно она хотела кого-то наказать. Когда умерла мать, она пешком – повторив путь отца – прошла до Спитафилдз и обратно, чтобы купить тонкий красный бархат, который всегда так нравился матери, и стояла в мастерской Гиллинга, пока гробовщик обивал этим бархатом гроб – чтобы все было сделано как надо. Лицо матери выглядело на фоне бархата белым как мел, но Сэл осталась довольна результатом, и пока родителей не предали земле, она неустанно топталась по дому, раскладывала вещи по комодам и снова их вынимала, перемыла все чашки на кухне, каждый соусник и каждую ложку, стоя на коленях, выдраила щеткой полы. Как будто, загоня себя работой, могла вернуть родителей к жизни.

Она сломалась, когда первый гроб – гроб отца – ударился о дно могилы с коротким глухим стуком, похожим на стук в дверь. Торнхилл знал, что она обязательно сломается. Ее слезы были слезами скорее не горя, а возмущения. Чтобы задушить их, она вцепилась зубами в руку, как это было, когда она рожала, и Торнхилл снова испугался, что она прокусит руку насквозь.

Отплавав, она вроде как подвела итог чему-то и восприняла появление судебных приставов куда спокойнее, чем он. Торнхилл не мог смотреть, как на повозку грузят любимое кресло ее отца, но Сэл взгляда не отвела. Она смотрела вслед повозке с родительскими пожитками, пока та не скрылась за углом, а потом, повернувшись к Торнхиллу, сказала: «Что ж, Уилл, слава богу, он этого не видит. Он купил это кресло за семь фунтов в Чипсайде. Я хорошо помню, как он принес его в дом».

Именно Сэл первой поняла, что они уже не могут позволить себе снимать мансарду. Посадив ребенка на бедро, она вышагивала по переулкам, выискивая жильё подешевле. Когда и это жилище стало для них слишком дорогим, она отправилась искать другое, еще дешевле. Когда они уже спустились на самую низкую жилищную ступень – следом шла только улица, – она все равно продолжала искать что-то дешевле, но лучше, и сама перетаскивала их нехитрый скарб, пока Торнхилл был на реке.

Была комната в подвале на Спаррик-Роу; чтобы ее не заливало водой, приходилось строить дамбы из рваных мешков; еще одну вроде этой они снимали на углу Кэш-Граунд; оттуда они перебрались за реку, к церкви Святой Марии в Сомерсете, где их сводил с ума колокольный звон; потом вернулись на свою сторону и поселились в Сноу-Филдз, но там их ограбили, и они переехали в дом Батлера на Брансуик-Лейн, где задержались. Это снова был третий этаж, в ком-

нате было одно окно, правда, разбитое, и чулан с оторванной дверью. Каждый понедельник Сэл отсчитывала четыре шиллинга, и он спускался к мистеру Батлеру, который стоял возле входной двери и колотил палкой по полу, напоминая жильцам, что пришел час расплаты. Это был натуральный грабеж, к тому же они задыхались от вони находившейся рядом солодовни. Но здесь было по крайней мере сухо, и черпальщики недавно очистили выгребную яму во дворе, да и труба чадила совсем чуть-чуть. «Мы привыкнем к вони, Уилл», – сказала она.

Он видел, что женился на женщине стойкой и решительной, и мог лишь восхищаться ею, потому что сам от отчаяния пребывал в каком-то трансе. Он мог лишь тупо работать, но силы воли на то, чтобы починить прохудившуюся крышу или прочистить забитую сажей трубу, ему не хватало.

«У нас есть мы», – напоминала она, лежа на куче тряпья, которое служило им в доме Батлера постелью. Она прижималась к нему, и он чувствовал ее дрожь и думал, что она плачет; она и в самом деле иногда рыдала – горько, отчаянно, вроде как ни с чего. На самом же деле она смеялась. «У нас есть мы, а еще блохи, – говорила она. – Так что здесь мы никогда не будем одиноки, не так ли?» И снова прижималась к нему, зная, что он не сможет устоять, и в конце издавала победный крик.

Он знал такие дома, как дом Батлера, с детства. У него ведь появились было надежды на лучшую жизнь, он ее уже

почти ухватил, эту жизнь, и вот теперь его отбросило далеко назад. Если бы не Сэл, он позволил бы себе соскользнуть под поверхность жизни, подобно тому, как человек, упавший в слишком холодную воду, уже не старается выплыть.

Она заставляла его идти вперед, даже когда их начал грызть голод. Он не забыл это ощущение усталости из-за вечно пустого желудка. Он уставал даже от мыслей об этом, и будь его воля, отвернулся бы, подобно миссис Миддлтон, к стене и сдался. Он и представить себе не мог, что свободный лодочник реки Темзы будет испытывать голод куда более сильный, чем простой ученик, будет голодать так же, как голодал он мальчишкой на Таннерс-Лейн. Он пытался храбриться, но понимал, что ему суждено голодать всю жизнь.

Сэл, возможно потому, что у нее не было такого опыта, воспринимала нужду как нечто временное, как то, что двое людей, таких смысленых и работающих, как они, смогут преодолеть. Однажды она стащила пару яиц с прилавка и спрятала их в детское одеяльце, пока все тарасились на двух дерущихся собак. Вечером она, смеясь, рассказывала об этом происшествии Торнхиллу: «Я утащила бы и три, только эти псы, хоть и все в крови, вдруг перестали драться и принялись облизывать друг друга». И он веселился вместе с нею, им обоим было весело, потому что в животах у них было по яйцу: «Надо же, паршивцы, принялись друг друга обнюхивать, а мне-то это было совсем ни к чему!»

Это была ее первая кража, и она по-детски ею гордилась.

Он похвалил ее, назвал хитрым воришкой, но на сердце у него было тяжело, потому что жизнь отбросила его в прошлое.

Из своего крохотного окошка они видели двор мистера Ингрэма, по которому весь день бродила домашняя птица. Куры и утки сражались за сухие корки, которые бросала им из кухонной двери Ингрэмова кухарка. Торнхиллы тоже сражались бы с курами за эти корки, да только кухарка все время торчала во дворе и, догадываясь, что у Торнхиллов на уме, злобно на них поглядывала.

Это была идея Сэл. Главное, сказала она, действовать быстро и не терять головы. Они дождались, когда ближе к вечеру служанка, изрядно нагружившись спиртным, проковыляла в уборную. Торнхилл ринулся вниз, схватил ближайшую курицу, сунул под куртку и помчался наверх в их комнату. Только они собрались свернуть курице шею, как услышали топот на лестнице и вопль: «Воры!» Но сообразительная Сэл вышвырнула курицу из окна, где та приземлилась на крышу маленького сарайчика. Торнхиллы попытались шугануть ее, чтобы она слетела во двор, но упрямая птица стояла на крыше и громко кудахтала, а служанка во дворе вопила: «Я все видела, курица у них из окна вылетела!»

Когда раскрасневшийся от натуги мистер Ингрэм наконец вскарабкался по лестнице, он не нашел у них никакой курицы, разве только на полу валялась какое-то перышко. Тогда хозяин выглянул в окошко и увидел курицу на кры-

ше. Но Торнхилл божился, что он днем спал, только сейчас проснулся и собрался идти в порт на работу, Сэл тоже стояла насмерть: «Он в последние шесть часов из комнаты не выходил, чертова курица сама, должно быть, залетела на сарай, и вообще мы ничего об этом не знаем, богом клянусь!»

Когда Ингрэм, ворча, ушел, Торнхиллы расхохотались. Они не смеялись уже давно, и их смех звучал, пожалуй, немножко дольше и громче, чем следовало бы – и верно, ну что в этой истории было такого уж смешного? А потом в комнате повисла гнетущая тишина. Сэл покрутила складку на своей старой юбке, единственной, которая у нее оставалась – потрепанной, в пятнах, в дырках, и сказала: «А ведь у нас уже животы к спинам присохли, Уилл, – и в голосе ее не было никакого веселья. – Вот так-то».

Он брался за любую работу, которую могли предложить лодочнику без своей лодки. Он перевозил благородных туда-сюда и начал ненавидеть их из-за теплых меховых накидок, холеных рук, упрятанных глубоко в карманы, глаз, скрытых низко надвинутыми шапками, ног в больших теплых сапогах, в то время как его голые ноги в какой уж раз за день промокших башмаках мерзли, пока он поджидал очередного клиента.

Когда подворачивалась возможность, он работал на грузовых лихтерах, принадлежавших куда более удачливым лодочникам, и мог ненавидеть только прилив да ветер. Лихтеры перевозили уголь и древесину, и он налегал на весла,

опустив голову, ни о чем не думая, словно какая-нибудь бессловесная тварь. Он сам напоминал себе человека, которому отрубили руку и который размахивает култей. Он ощущал в себе какую-то огромную пустоту – в этой пустоте когда-то было место надежде.



Честные речники тоже встречались. Одним из таких был суровый и глубоко религиозный Джеймс Манн с причала Святой Катарины у Тауэра. Он был человеком надежным, у него имелись постоянные клиенты, которые работали только с ним, и, поджидая их, он не тратился на всякие излишества вроде табака или там жареного угря, а, бывало, расколет грецкий орех, один, не больше, да и выковыривает мякоть помаленьку.

Но речник с женой и ребенком не мог прожить только на свои заработки. Большинство речников воровали, а некоторые подходили к этому как к настоящему промыслу. У Томаса Блэквуда был лихтер – «Речная королева», номер четыреста восемьдесят семь, – который смотрелся как любой другой лихтер, пока не поднимал на корме фальшивое днище, под которым имелось объемистое отделение для перевозки краденого.

На самом деле попадались только дураки – либо слишком наглые, которые крали при ясном свете дня, либо те, кото-

рые не подмазали нужных людей. Но некоторым просто не везло. Колларбоун был таким вот невезучим – об этом говорило уже то, что он родился с багровым пятном на пол-лица. Правда, может, дело было и не в одном лишь невезении – может, на него кто и донес, заработав таким образом фунт-другой. Доносчиков всегда хватало.

Колларбоун был вахтенным матросом на лихтере Смита на причале таможи, доставившего тридцать три бочонка лучшего испанского бренди. Он заступил на смену в шесть, в полночь его сменили, но как только Колларбоун сошел на берег, его остановил вахтенный офицер, обыскал и нашел в карманах куртки пузыри с бренди. Колларбоун вырвался, оставив куртку в руках офицера, и помчался на холм Святого Дунстана, где его уже поджидал другой офицер. Поскольку бренди было отличного качества, и стоимость покражи явно превышала сорок шиллингов, Колларбоуна без всяких приговорили к повешению.

За день до казни Торнхилл ходил повидаться с ним в Ньюгейт. Они сидели за длинным столом – эти свидания были одной из привилегий приговоренных к смерти, и Колларбоун рассказывал ему все в подробностях: «И вот я достал буравчик и трубку, и сказал себе: ну, и чего ж ты ждешь?» Он ухмылялся, как будто это была очередная забавная история.

Но Торнхилл очень хорошо себе представлял, как все это происходило, он даже ощущал страх, сжимавший горло, когда что-то крадешь, и понимал, что все это вовсе не шутка.

Не важно, как часто приходится воровать, ты все равно задыхаешься от страха, потому что тебя непременно поймают и повесят.

Колларбоун сначала смеялся, а потом страшно побледнел. Закрыв лицо руками, а когда снова взглянул на Торнхилла, то, казалось, видел не его, а тот путь, что привел его в эту комнату, весь путь, начавшийся два месяца назад, когда он проснулся и ел на завтрак, стоя у окна в одном исподнем, ломоть хлеба, ел и еще не дотрагивался до испанского бренди, которое и привело его в это проклятое место.

Смерть через повешение и так была ужасной, но некоторым счастливицам везло, и она была быстрой. Палач накануне взвешивал приговоренного, производил кое-какие подсчеты – рассчитывал длину веревки, чтобы шея ломалась чисто и быстро. На следующее утро в восемь часов под человеком с петлей на шее открывался люк, и он падал – словно прыгал в реку с пирса Ламбет. Если мистер Палач все правильно рассчитал, тогда человек дергался недолго, не плясал в петле и голова его быстро свисала на сломанной шее.

Но в такой скорой смерти не было ничего увлекательного. Разочарованная толпа принималась улюлюкать, швырять огрызки и кости в тело, раскачивающееся на веревке совсем как мешок с кофе, который на веревке же затягивают в проем в стене склада Лэмба.

Здесь, в этой камере смертников, Колларбоун упросил Торнхилла купить ему быструю смерть, и ради былых вре-

мен Торнхилл так и сделал – ходками для Уорнера и Блэквуда и остальных собрал полкроны. Сунул монеты через решетку в протянутую руку, продолжение невидимого тела мистера Палача. Это все, что он мог сделать для друга.

Сэл заложила табуретку и их второе одеяло, чтобы раздобыть еще полкроны, но смотреть на казнь не пошла. Торнхилл же почему-то чувствовал, что это будет правильно – составить Колларбоуну компанию в его последнем путешествии, и поэтому на следующее утро, в сером рассветном свете, они с Робом стояли во дворе тюрьмы Ньюгейт и смотрели, как их друг неуклюже шел к люку. Мистер Палач шагнул в сторону, и Колларбоун провалился в люк.

Но, видно, мистер Палач что-то не так посчитал, или сунутых сквозь решетку монет оказалось маловато. В результате падения шея у Колларбоуна не сломалась сразу же, а толстая веревка просто перетянула дыхательное горло. До Торнхилла донеслись хрипы пытавшегося вдохнуть Колларбоуна, он видел, как бились в воздухе его ноги, как вздымались плечи, как отчаянно, словно рыба, пойманная на крючок, билась его затянутая парусиновым мешком голова.

Публике смерть Колларбоуна понравилась.

Роб видел казнь впервые. Он глазел с открытым ртом, и когда все было кончено и веревку, на которой болтался бедный Колларбоун, отрезали, он отвернулся и его стошнило прямо на маленькую собачонку, прижимавшуюся к юбке своей хозяйки, и дамочка, даром что была вся в шелках, во-

пила и бранилась, как торговка рыбой с Биллингсгейта.

«Попал на псину прямо в точку, – рассказывал он потом Сэл. – И захочешь – так не сделаешь». Она быстро глянула на него, а потом снова уставилась на чулок, который штопала – стежок на стежок. Глубоко вздохнула и повернула чулок, чтобы вонзить иглу под другим углом, и он так и не понял, поверила она ему, или нет.



Мистер Лукас был дядькой объемистым, полосатый жилет подчеркивал его толстое пузо. Он был хозяином нескольких лихтеров и бригадира по имени Йейтс, который уже сам нанимал гребцов. Йейтс слыл человеком справедливым и распределял работу поровну.

Ходили слухи, что Лукас мечтает стать лорд-мэром Лондона. Он слыл благочестивым, по крайней мере, по воскресеньям, потому как это было обязательным условием будущего лорд-мэрства, и весьма строго следил за всякими злоупотреблениями на принадлежавших ему лодках. Другие хозяева могли глядеть в сторонку, позволяя бедным гребцам пользоваться какими-никакими возможностями, но только не Маттиас Прайм Лукас. Человек, твердо решивший стать лорд-мэром Лондона, должен считать каждый пенни, потому как это затея не дешевая – чего стоят грандиозные обеды и подарки нужным людям, тут не до щедрот по отношению к

работягам.

Джон Уайтхед сглупил, и его заловили на причале Брауна с семьюдесятью фунтами конопли с лихтера, принадлежавшего мистеру Лукасу. Уайтхед, говорят, на коленях умолял мистера Лукаса, но мистер Лукас был непреклонен, и в наказание другим Уайтхеда вздернули.

Поначалу Торнхилл осторожничал, лишь время от времени позволяя себе наполнить пузырь портвейном или припрятать мешочек чая. Пару раз он чуть не попался – офицеры выскочили прямо из ниоткуда. Но проработав три года на Лукаса, он научился ценить и безлунные ночи, и то, как важно всегда иметь под рукой маленький ялик, на котором можно удрать. Уайтхед попался только потому, что недостаточно подмазывал портовую полицию. Торнхилл же регулярно поставлял им бутылки французского бренди. Единственное, от чего человек не мог себя защитить, – это от брехунов, готовых за пять или десять фунтов доносить на своих.

Торнхилл обзавелся полезными знакомствами. Одним из таких знакомцев был Наджент из судовладельческой компании «Мессирз Буллер» – клерк, не гнушавшийся несколькими лишними шиллингами. Это Наджент дал ему знать о грузе бразильского красного дерева⁸, стоившего не меньше десяти фунтов за доску, который прибывал на «Роуз Мэри».

⁸ Бразильское красное дерево, или фернамбук, очень ценилось как сырье для изготовления красной краски для окрашивания дорогих тканей. Также из этой древесины делали смычки для струнных инструментов.

Поэтому, когда бригадир Йейтс приказал ему плыть к Хорслидауну, к «Роуз Мэри», принадлежавшей компании мистера Буллера, и доставить груз древесины вверх по реке к пристани Трех Кранов, у него все уже было готово. Он убедился, что луна взойдет в эту ночь поздно, и наказал Робу ждать его у «Роуз Мэри».

Вечером, с отливом, он погнал пустой лихтер к Хорслидауну и прибыл как раз к полуночи. Пришвартовался к борту «Роуз Мэри» и лег соснуть до рассвета, когда загрузится древесиной и когда прилив понесет его вверх по реке, к пристани Трех Кранов.

Пока что он был невиновен, как свежавывающий снег.

Он любил эти ночи на реке, его успокаивал звук плещущей о борта воды. Стоявшая рядом «Роуз Мэри» была всего лишь сгустком тьмы на фоне темного неба – звезды скрылись за облаками.

Человеку с чистой совестью нечего бояться темноты.

Он думал о Сэл, спящей в кровати вместе с ребенком. В это самое утро она сказала ему, что у них будет еще один ребенок – еще один голодный рот. Она рассмеялась, когда он уставился на ее живот: «Еще ничего не видно, Уилл!» Но взяла его руку и положила на передник, на то самое место, где его семя дало свои всходы, и улыбнулась.

Она никогда не выпрашивала его, откуда взялись деньги, а только радовалась, что в буфете есть краюха хлеба и свежее молоко для ребенка. Она, как и он, прекрасно знала, что те

из гребцов, которые отличались честностью, голодали. Но он чувствовал, что она не хочет знать всей правды, и поэтому никогда не рассказывал ей о тех ночах на реке, когда ему удавалось наложить лапу на то, что ему не принадлежало.

Наступило утро, но Роб не появился. Ждать он больше не мог, и потому нанял человека с пристани по имени Барнс, такого тупого, что ему пришлось объяснять, с какого конца брать доски и как загружать их в лихтер. Он подгонял Барнса и все больше злился на Роба и на себя самого, потому что понадеялся на полудурка, который не в состоянии запомнить собственное имя, не говоря уж о том, чтобы быть в назначенное время в назначенном месте.

Позже на борт поднялся мистер Лукас, чтобы вопить да указывать. К тому времени основную часть леса перегрузили на лихтер, но Торнхилл пока не видел никакой бразильской древесины, только хвойный лес, и он подумал, что Наджент что-то перепутал. Он крикнул Лукасу: «Мы уже почти все загрузили, мистер Лукас! Полагаю, больше ничего не будет?» Лукас глянул на него и со странной усмешечкой вынул свой маркировочный молоток. «Еще немного загрузим в каюту, – прокричал он с борта “Роуз Мэри”. – Шесть досок бразильского красного дерева, я их сам промаркирую».

Торнхилл чувствовал какую-то странную легкость во всем теле. Он знал это ощущение, он испытывал его всякий раз, когда нарушал закон – и сколько б раз ни нарушал: это была лихая смесь страха и надежды. Однако ему удавалось сохра-

нять невозмутимое лицо.

Стоя наверху, Лукас наблюдал, как они с Барнсом укладывали бразильскую древесину, четыре длинных доски и две покороче. Лихтер был уже полностью загружен, и им пришлось положить бразильские доски поверх всего остального. Они были хороши даже в необработанном виде – плотное дерево с чудесным рисунком глубокого красного цвета. Лукас пометил каждую доску – на обоих концах виднелись маленькие квадратные следы от молотка.

На какое-то мгновение Торнхилл решил, что задуманный им план придется отменить. Это даже было не осознанное решение – просто ощущение, словно кто-то плеснул ему за шиворот холодной воды: «Он знает, не делай». Сердце колотилось так, что в груди прямо ухало. Он знал, как называется это чувство – то был страх. Но чтобы помешать кому-то украсть что-то у того, кому это что-то принадлежит, одного страха недостаточно. Это чувство – такая же составляющая жизни гребца, как вечно мокрые башмаки. Все просто: страхом за крышу над головой не заплатишь.

Лукас стоял на палубе «Роуз Мэри», уперев толстые ручки в объемистые бока, и внимательно наблюдал за погрузкой. «Мне не нравится, что ты положил бразильские доски поверх всех остальных, – заявил он. – Они стоят пятьдесят фунтов». Торнхилл глянул на него снизу, из лихтера: «Вы бы хотели, чтобы мы разгрузились, положили их вниз и загрузились снова?» Лукас постоял, размышляя, и наконец ре-

шил: «Нет, но смотри, парень, чтобы с ними ничего не случилось». Торнхилл изобразил подобострастие: «Конечно, мистер Лукас, можете на меня положиться».

К трем пополудни лихтер был полностью загружен, но как раз начался отлив, так что пришлось повременить. У Торнхилла была с собой еда, и он уселся на доски, ожидая, когда наступит вечер. Около одиннадцати он услышал, как у реки поменялся голос, а это означало, что начинается прилив. Он отогнал лихтер от корабля, и прилив понес их вверх по течению. Ему оставалось лишь направлять судно веслом.

Он прошел через среднюю часть Лондонского моста и повернул к банке Мидлсекса. В кромешной тьме он различал лишь воду. По тому, с какой скоростью он прошел под Лондонским мостом, он высчитал, когда ему надо свернуть к пристани Трех Кранов, и повернул судно в сторону берега, поймав течение, которое принесло его к доку. Он слышал, как плещется о деревянные сваи вода, судя по звуку, она стояла еще слишком низко, чтобы начинать разгрузку.

Он слышал, как в конце причала бьется на фалине его шлюпка – он сам привязал ее там накануне. Шлюпка ждала, когда он погрузит в нее бразильские доски. Он пока еще к ним не притронулся, он пока еще был ни в чем не повинен.

Вахтенный сидел в своей каморке на краю причала. Торнхилл видел, как из-под двери пробивается тоненький лучик света. Вахтенный закрылся с чем-то там жидким и согревающим.

Торнхилл, направляя лихтер вдоль причала, тихо позвал: «Роб, Роб, ты здесь?» Никто не отвечал. Он уж было решил, что ему придется все делать самому, оставил весла и собрался прыгнуть на причал, чтобы закрепить линь на швартовой тумбе, как из темноты послышался тихий голос Роба: «Уилл, я здесь». – «Бога ради, помоги пришвартоваться!» – ответил Торнхилл и бросил линь. Роб каким-то чудом поймал его, закрепил, и лихтер мирно закачался на волнах.

Торнхилл вскарабкался на причал. «Черт бы тебя побрал, Роб, – прошипел он. – Почему ты не пришел помочь мне с лихтером?» В темноте он не видел брата, но мог легко представить себе виноватое выражение на его тупой физиономии. «Пришел, как только смог, Уилл, – заныл Роб. – Господь мне свидетель!» Стараясь не повышать в раздражении голос, Торнхилл сказал: «Господа-то хоть не поминай! Давай спускайся, и закрепи корму, да поживее!»

Он только успел привязать кормовой линь к тумбе, как услышал какой-то звук рядом с лихтером – легкий всплеск, деревянный звук весла, стукнувшегося об уключину. У него мелькнула мысль – мимолетная, как тень птичьего крыла, отмеченная быстрым взглядом, – что что-то идет не так. Он вгляделся в темноту, но не увидел ничего, кроме переливов этой темноты.

Им пришлось перегружать бразильскую древесину в шлюпку почти наощупь. Они тихо-тихо передвигали доски через планшир лихтера, шлюпка оседала под их тяжестью.

Он чувствовал, как Роб принимает груз, слышал глухой звук, с которым ложились доски друг на друга. Стук был почти неслышным, но для него он звучал словно гром.

Они перегружали уже четвертую доску, когда вдруг на другом конце лихтера послышалась какая-то возня, стук и топот нескольких пар ног в тяжелых ботинках. Кто-то бежал по лихтеру к Торнхиллу и Робу, державшим брус. «Торнхилл! – раздался вопль Лукаса. – Торнхилл, ах, мерзавец!» В этот момент в душе его поднялся весь скопившийся ужас, и этот ужас поглотил его. Надо было прислушаться! Надо было слушать тот тихий голосок, твердивший: «В этот раз они тебя поймают!»

У Лукаса в руке что-то было. Торнхилл увидел металлический отблеск и понял, что это кортик, с которым мистер Лукас никогда не расставался. Он услышал, как лезвие расколо воздух рядом с ним, и этот звук заставил его запаниковать. Он отступил в шлюпку, споткнулся о брусья, почувствовав себя беспомощным и маленьким. «Бога ради, не надо!» – услышал он собственный крик, его плоть съежилась, сжалась, стремясь избежать столкновения с лезвием, а Лукас вопил: «Сюда, стража, сюда!» – и Торнхилл почувствовал, как чья-то рука ухватила его за рукав.

Ему удалось вывернуться, но руки схватили его за ворот, и он побежал вдоль шлюпки. Лукас пытался его удержать, но споткнулся о весло и грохнулся плашмя. Он услышал, как воздух с ревом вырвался из его глотки и представил, как этот

огромный обтянутый полосатым жилетом живот лопается, словно пузырь. Он запрыгнул в шлюпку, Роб уже был в ней – смотри-ка, когда речь идет о спасении собственной жизни, он быстро соображает! – и отвязывал канат. Отталкиваясь веслом от лихтера, он услышал, как одна из бразильских досок соскользнула с планшира и шлепнулась в реку, отчего их лодка закачалась и чуть не зачерпнула воды.

Он задыхался от страха, но одновременно и от странных конвульсий в животе, которые, как ему показалось, имели какое-то отношение к смеху.

Роб был больше озабочен потерей своей куртки, чем спасением, и вновь и вновь с удивлением, как будто только что об этом узнал, твердил: «Моя куртка там осталась! Моя хорошая толстая куртка! – и добавлял: – И мой носовой платок, как же я теперь сопли вытирать буду, а, Уилл? – затем с кормы раздался его похожий на клеткот смех: – Мой платок, Уилл, только подумай, мистер Лукас решит, что это его собственный платок!»

Ну точно, мозг у Роба был устроен странно – в нем, как сливы в пудинге, попадались мысли вполне здравые.

Он уже подумал, что им удалось удрать, как с лихтера послышался рык мистера Лукаса: «Йейтс! Хватай их!» Обернувшись, Торнхилл увидел, как по темной воде к ним приближается нечто – другая шлюпка. Он налег на весла, чтобы повернуть, да так резко, что Роб растянулся на корме.

Как во время гонки на приз Доггетта, все существо Тор-

нхилла словно сжалось, остались только руки, плечи, ноги, упертые в днище. Он греб изо всех сил, чувствуя только, как зад его с каждым гребком отрывается от скамьи. Он подумал, что оставил преследовавшую его шлюпку позади. Быстрый взгляд через плечо подсказал, что рядом собор, он направил лодку к пристани Кроушей и уже собрался сушить весла и причаливать, как сзади, из темноты, на него налетела другая лодка, из которой в его суденышко перепрыгнул кто-то огромный, его лодка закачалась, и голос Йейтса, задыхаясь, просипел: «Я тебя поймал, застрелю, если попытаешься сбежать!» И даже в этот миг Торнхиллу хотелось засмеяться и ответить: «Кончай важничать, Йейтс!»

Роб издал вопль, лодка качнулась, раздался громкий всплеск. Брат перевалился через корму, и больше от него не было слышно ни звука.

Торнхилл видел темные очертания Йейтса, чувствовал запах трубки, которую тот всегда курил. Йейтс не был плохим человеком – сам ведь был лодочником. За все эти годы к его рукам тоже прилипло немало. «Бога ради, поимейте жалость, мистер Йейтс, – взмолился Торнхилл. – Сами ведь знаете, что мне будет!» Он увидел, что темная масса – мистер Йейтс – вроде как помедлила, и взмолился снова: «Вы же меня десять лет знаете, неужто позволите, чтоб меня вздернули?»

И поскольку Йейтс стоял в явной нерешительности и молчал, Торнхилл набрал полные легкие воздуха и прыгнул за

борт. Прилив был на середине, вода доходила ему только до бедер, а рядом качалась лодка Йейтса. Он в одно мгновение добрался до узла, отвязал лодку и перевалился в нее. Торнхилл оттолкнулся и принялся грести изо всех сил. Йейтс молчал.

Йейтс мог быть милосердным, но Лукас таковым не был. Человек, метивший на должность лорд-мэра Лондона, ни за что не стал бы попустительствовать воровству. Объявили награду – не за поимку Роба, чье тело прибило к ступеням причала Мейсона, а за поимку его, Уильяма Торнхилла. И кто мог устоять против десяти фунтов?

Так что они пришли и нашли его там, где он прятался – выше по реке, на пристани Экри, что возле мельницы.



Людей в камерах Ньюгейта было столько, что по ночам едва удавалось найти на полу место для грязного тюфяка. Стены были сложены из камня, обтесанного так ровно, что между блоками не оставалось ни малейшей щели, известковым раствором при сооружении тоже не пользовались: каменные блоки держались за счет собственного веса, и несокрушимыми были сложенные из них стены.

Сэл переехала из комнаты в доме Батлера к Лиззи и Мэри и тоже стала шить саваны. Все они навещали его в камере, делая вид, что у них все хорошо и что опасаться им нечего.

Сэл, крепко держа за ручку маленького Уилли, привела его с собой. Ему было четыре – уже достаточно большой, чтобы испугаться увиденного в Ньюгейте, но еще маленький, чтобы это сильно на него повлияло. Торнхиллу нравилось держать ребенка на руках, прижимая к груди, но он попросил Сэл больше его не приводить – заключенные болели тюремной лихорадкой.

Они принесли еду, какую смогли собрать, – кусок хлеба и кусочки вяленой селедки. И наблюдали, как он ест. Он видел их голодные глаза и старался съесть все, чтобы их порадовать, но на самом деле есть ему не хотелось: горло словно перекрыло.

Он старался не вспоминать о счастливых временах. Здесь, в Ньюгейте, все, что было в его душе мягкого, где раньше теплилась какая-то надежда, затвердело, превратилось в камень, покрылось панцирем. И слава богу.

Сэл взяла все в свои руки. Она продумала все. Больше всего человеку в Ньюгейте нужен был не кусок хлеба и не одеяло – больше всего ему нужна была надежная история. Она твердила, что хорошая история – самое главное, даже если тебя поймали с поличным. И человек должен сам в нее верить, потому что когда настанет черед ее рассказывать, все должно выглядеть как чистая правда.

Он видел, что она ухватила самую суть. В тюремном дворе он наблюдал, как один мальчишка снова и снова повторял себе и всем, кто оказывался рядом, одну и ту же фразу: «Это

все вранье, это все ради награды». Мальчик произносил эту фразу и так, и эдак, с разными выражениями, ребенок с дырками вместо передних зубов, лишь немногим старше Уилли. «Это все вранье, это все ради награды». Он был похож на тех актеров, которых Торнхилл перевозил через реку. В нужный момент и при ярком свете рампы, фраза будет наготове и вытеснит все остальные соображения – только потому, что ее столько раз повторяли.

История должна быть такой убедительной, чтобы мало-помалу само событие – а в случае мальчика это была кража бекона из мясной лавки – было скрыто под другим событием, подобно тому, как нарастают на камень ракушки. Что может быть лучше грубой лжи? Просто произнося ее, надо верить в ее реальность и смотреть открыто, как человек, который говорит правду.

К тебе подошел какой-то человек и сам отдал тебе куртку. Этот кусок ковра ты нашел на дороге. Некто пообещал тебе пенни за то, что ты отнесешь эту коробку на Коспорт-стрит. Бог свидетель, ты ни в чем не виноват.

Сэл уже все для него придумала. Он привязал лихтер, но из-за того, что прилив был еще низким, он выбрался на причал, собираясь вернуться, когда будет больше воды. Он надеялся, что вахтенный на причале присмотрит за грузом, но пока его не было, кто-то неизвестный, должно быть, подобрался со стороны реки, так, чтобы вахтенный не заметил, и перегрузил доски.

Это была надежная история, без прорех. Он любовался Сэл, восхищался тем, как ясно она все себе представила и подсказала слова, которые могли превратить эту историю в правду. «Ты выберешься отсюда, Уилл, – прошептала она, обнимая его на прощание. – Ничего они тебе не сделают, уж я об этом позабочусь».

Ее любовь и стойкость придавали ему мужества, это было богатство, которого, как он видел, не было у других. Когда его жена и сестры ушли, он выпрямился, стал словно выше, и мог смотреть тюремщикам в глаза. «Я привязал лихтер и ушел, собирался вернуться позже».

На следующий день по двору пронесся слух, что некий Уильям Биггс, которого обвиняли в краже двух уток, оцененных в двадцать пять шиллингов, убедил суд в том, что он невинен, как еще не рожденное дитя, и его оправдали. В тюремном дворе все только и говорили о своей невинности, и идея распространилась среди заключенных, словно холера. Торнхилл слышал, как стоявший рядом с ним человек бормотал: «Я солдат. Я только что вернулся с дежурства, да рядом со мной в казарме полно было народа, я невинен, как еще не рожденное дитя».

И он добавил эти слова к своей истории, которую все время репетировал. «Я привязал лихтер, собирался вернуться позже, чтобы разгрузиться, я невинен, как еще не рожденное дитя»



Зал в Олд-Бейли⁹ был настоящей медвежьей ямой. В самом низу глубокого, как колодец, помещения стоял большущий стол полукругом, за которым сидели барристеры, похожие в своих черных мантиях и париках на ворон, вокруг них толпились робкие свидетели, ждавшие, когда их вызовут, приставы подпирали стены.

Чуть повыше, вдоль одной из стен, внутри кафедры, огороженной деревянными панелями, располагались присяжные – по четыре в три ряда, в этом огромном и плохо освещенном зале различить их лица не было никакой возможности. Напротив судьи, на маленькой платформе, спиной к свету, лившемся из высоких окон, словно пришпиленный, торчал очередной свидетель.

Высокие, полные света окна повторяли окна церкви Христа. И доказывали – как если бы Торнхилл в том сомневался, – что судья суть особа благородная, потому как Господь тоже ведь из благородных!

Над кафедрой, на которую вызывался тот, кто давал показания, было прикреплено зеркало под таким углом, чтобы свет из окон, отразившись от него, освещал лицо говорившего. Этот холодный мертвенный свет, из-за которого лица

⁹ Центральный уголовный суд Лондона.

приобретали металлический оттенок, должен был позволить судье и присяжным заглянуть непосредственно в душу говорившего. Позади него было прикреплено еще одно зеркало, дававшее свет человеку в парике вроде барристерского, с чернильным прибором и большой книгой, в которую он записывал каждое произнесенное слово.

Вот это, наверное, было самым ужасным: кто бы что ни сказал – будь то слово правдивое, или ложно обвиняющее, – запечатлевалось навеки, и не было здесь места для милосердной человеческой забывчивости.

Наверху, почти под потолком, находились галереи для публики, огороженные высокими панелями и колоннами, призванными сдерживать волнение толпы. Он смотрел туда, наверх, в надежде отыскать взглядом Сэл, но видел лишь беспокойную людскую массу. То там, то здесь над заграждением возникала чья-то рука, мелькала в толпе яркая женская шаль. Он заметил соломенную шляпку, которая удерживалась на голове завязанным под подбородком шарфом. У Сэл была шляпка, и носила она ее именно так, и, наверное, это ее изгиб шеи, это она пытается через головы и плечи заглянуть вниз, туда, где заседает суд.

Он расслышал какой-то вскрик, женский голос. Может, это был ее голос, и она звала: «Уилл! Уилл!» – и это ее рука ему махала?

Наверняка это она, думал он, и любил ее за это. Он сидел за решеткой и не осмеливался крикнуть ей в ответ – это бы-

ло бы так же неуместно, как окликнуть кого-то в церкви. Во всяком случае, она принадлежала другому миру, миру, который он покидал. Он любил ее, она была для него всем, но здесь, внизу, он был сам по себе.

Он стоял на месте, которое почему-то называлось скамьей подсудимых, – на высоком пьедестале, на котором был виден всем, прямо перед ними, словно совершенно нагой. Руки были туго связаны за спиной, из-за чего ему приходилось склонять голову, он все время старался выпрямиться, смотреть судьбе в глаза, но боль в шее заставляла склоняться. Здесь, на возвышении, он чувствовал, как скапливается и ползет снизу вверх влага: все эти втиснутые в одежды тела, все эти вдохи и выдохи, все эти клубящиеся в тяжелом воздухе слова.

Он был потрясен силой слов. Слова были сутью этого суда, отдельные слова, сгустки воздуха, вылетающие из уст свидетеля, от них зависело, болтаться ему на виселице или нет.

Когда его вытолкнули на пьедестал, он не сразу разглядел судью, восседавшего на резной скамье, – серое лицо, казавшееся еще меньше из-за пышного парика, многослойной мантии, туго обхватывавшего шею белого воротника с золотой окантовкой. И это облачение было призвано усмирить, сократить то человеческое, что находилось под ним, пока оно не исчезнет совсем.



Мистер Нэпп, которого назначили ему в защитники, был джентльменом апатичным и вялым, и Торнхилл не ожидал от него никакого толка, однако мистер Нэпп его удивил. Мистер Лукас сказал все, что собирался сказать, затем Нэпп обратился к нему голосом таким утомленно-скучающим, что Торнхилл поначалу и не понял, что тот нашел какую-то лазейку: «Я так понял, мистер Лукас, что вы сказали, что ночь была очень темная и потому вы могли узнать того человека только по голосу, и то был голос Торнхилла?»

Но мистер Лукас понял, куда тот клонит, сначала прокашлялся, а потом убежденно произнес: «Я его точно узнал, когда до него добрался», и мистер Нэпп, не обращая внимания на слова мистера Лукаса, небрежно спросил: «Но узнали вы его только по голосу?»

Человека, намеревающегося получить золотую цепь лорд-мэра, какому-то полусонному барристеру не смутить, и Лукас холодно ответил: «Я уверен, что человек, которого я видел, это вон тот заключенный, и когда я его поймал, я его узнал – это заключенный».

Теперь Торнхилл слушал со всем вниманием: судя по всему, ему следовало бы поблагодарить ночь за то, что она была такой темной. Нэпп подстроил маленькую ловушку, сказав: «Другими словами, вы узнали Торнхилла, когда схвати-

ли его?» Лукас снова откашлялся, переступил с ноги на ногу, почесал глаз и сообразил, что к чему. «Перед этим я узнал его по голосу», – нетерпеливо произнес он. Мистер Нэпп, не дав ему времени на обдумывание, тут же заявил: «И это заставило вас сделать вывод, что это Торнхилл – то есть вы не были уверены, пока не приблизились и не убедились, что это так?»»

Но и Лукас был не дурак, так просто его было не поймать. Он уперся руками в ограждение, солнечный свет, отразившись от зеркала, воссиял на его физиономии. Заговорив, он, казалось, читал письма, начертанные плясавшими в солнечном луче пылинками: «Когда древесину двигали, я никакого голоса не слышал. И если б меня спросили об этом моменте, я не стал бы клясться, что то был Торнхилл». Он помолчал, подбирая слова, а затем, ровно и медленно, словно втолковывал что-то всем Робам этого мира, продолжил: «Сейчас я могу поклясться, что одним из тех, кого я видел, когда перегружали древесину, был Торнхилл, но тогда бы я в этом поклясться не мог. Когда я приблизился, это оказался Торнхилл, и я глаз с него не спускал, потому могу сказать, что тем самым человеком, который перегружал доски, был Торнхилл».

И даже мистер Нэпп не смог найти щели в этой каменной кладке из слов.

Наступил черед Йейтса давать показания, и Торнхилл видел, что ему это неприятно. Щурясь из-за света, отражавше-

гося в зеркале, Йейтс усталился в противоположную стену зала-колодца, его густые седые брови двигались вверх-вниз, руки неустанно отпихивали и перебирали перила, перед которыми он стоял, как будто он пытался оттолкнуть от себя все эти неприятности.

Мистер Нэпп, глядя куда-то в потолок и словно спрашивая у самого себя, произнес: «Значит, возможности разглядеть лицо не было – слишком для этого было темно?»

Йейтс принялся поглаживать перила, словно собаку. «Да, темно, – сказал он. – Я судил по голосу, по фигуре и росту».

Тут мистер Нэпп вдруг ожил и выпалил: «А как можно судить по фигуре и росту в такую темную ночь?» Торнхилл увидел, что бедняга Йейтс скривился и, запинаясь, принялся оправдываться: «Да я и не смог бы, если б не был с ним хорошо знаком! – движения кустистых бровей подчеркивали его огорчение: – Я же не говорю, что всегда могу или не могу, но тут вот вроде узнал».

Мистер Лукас, стоявший у скамьи свидетелей, строго вззрился на Йейтса. Даже со своего места Торнхилл видел выступивший на лбу бедняги Йейтса пот. Мистер Нэпп упорствовал: «Ночь была безлунная, и как же вы могли узнать человека по фигуре и росту?» Как же получается, думал Торнхилл, что два простых слова – «фигура» и «рост» – могут означать жизнь или смерть?

Бедный Йейтс, глядя то на Лукаса, то на Торнхилла, запинаясь, пробормотал: «Прошу прощения, если я что не так

сказал...» – а безжалостный мистер Нэпп продолжал наступление: «Значит, это было поспешное заявление, что вы узнали его по фигуре и росту?» И Йейтс сломался, теперь он уже сам не был уверен в собственных словах, и, не отводя взгляда от Лукаса, промямлил: «Но я почти поймал этого человека, я понял, что это он, когда он со мной заговорил. Я узнал его по голосу».

Тут он глянул на Торнхилла и сказал: «Наверное, я поспешил, когда говорил про фигуру и рост», и умолк, будто окаменев, и лишь крепче стискивал под мышкой свою шапку. А безжалостный свет, отразившись от зеркала, заливал его несчастную физиономию.



Момент, когда Торнхиллу позволили рассказать свою историю, наступил так неожиданно, что все слова, которые они с Сэл подготовили, испарились у него из головы. Он мог припомнить только самое начало: «Я привязал лихтер и собирался вернуться к нему потом», потом ведь были еще какие-то слова, но какие?

Он, сам не понимая почему, уставился на мистера Лукаса и пробормотал: «Мистер Лукас знает, что ни один лихтер на реке не может встать там на якорь», и уже когда эти слова вылетали у него изо рта, понимал, что к делу они отношения не имеют, и в отчаянии выкрикнул: «Я невиновен, как еще

не рожденное дитя!» Однако эти неоднократно отретпетированные слова уже никакого значения не имели.

Во всяком случае, судья, там, на своем месте, его не слушал. Он шуршал бумагами и, наклонившись, внимал тому, что кто-то говорил ему на ухо. Лукас тоже не слушал, засунув руку в карман, он достал оттуда часы. Торнхилл увидел, как открылась серебряная крышка, как Лукас взглянул на циферблат, снова закрыл часы, почесал указательным пальцем ноздрю. Эти его слова, так убедительно звучавшие во дворе Ньюгейтской тюрьмы, канули в никуда.

Теперь судья забавлялся со своей черной шляпой, затем напялил ее на парик, так, что она лихо свисала набок, и принялся что-то говорить тихим писклявым голоском, Торнхилл его едва слышал. Пристав, толстый джентльмен в грязном белом жилете, заметил у противоположной стены знакомого и поприветствовал его, помахав рукой и что-то выкрикнув. Один из барристеров накручивал на палец концы воротничка, другой вытащил табакерку и предложил понюшку соседу.

Суд и не собирался выслушивать Уильяма Торнхилла, и в мгновение ока он был признан виновным и приговорен «к повешению за шею, пока не умрет».

Он услышал крик – то ли с галереи для публики, то ли этот крик вырвался у него самого, он не понял. Он хотел сказать, воззвать: «Ваша милость, простите, это какая-то ошибка», но тюремщик уже схватил его за плечо, сволок по лест-

нице и впихнул в дверь прохода, который вел в Ньюгейт. Он успел повернуться и глянуть на галерею для публики, Сэл была где-то там, но он ее не видел. А потом он вновь оказался в камере, вместе с другими, но без своей истории, с него, как одежду, содрали его рассказ об оскорбленной невинности, и он остался без всего, кроме осознания того, что был у него миг надежды, и этот миг прошел, и впереди у него ничего, кроме смерти.



Сэл пришла навестить его в камеру смертников. Сам звук ее шагов по деревянным планкам пола сказал ему, что она сдаваться не намерена. За беспечной девчонкой, на которой он женился когда-то, скрывался совсем другой человек, на которого он теперь смотрел с изумлением, – не девочка, а женщина. Ее чувство юмора никуда не делось, его не истребили, оно просто стало другим – оно стало темнее и глубже, изменилось под влиянием того, что было в ней всегда, но поджидало своего часа, чтобы проявиться, – ее упрямого ума, нерушимого, как скала.

Она навела справки, сказала она. Порасспрашивала и выяснила, что должен делать приговоренный к смерти. «Прощения писать, Уилл, – сказала она. – Посылать прощения, поднимаясь все выше и выше, вот как это работает». В ней была какая-то ледяная веселость, даже резвость, хотя он за-

метил, что она избегает встречаться с ним взглядом, как будто боится увидеть в его глазах что-то, что сломает ее решимость. Отчаяние, узнал он здесь, столь же заразно, как лихорадка, и столь же смертельно. «Ты должен заставить этого колченогого Исусика написать капитану Уотсону, – заявила она. – У меня не получится, я и слов-то таких не знаю». В лицо она ему не глядела, но схватила его за руку и сжала так сильно, что он почувствовал все ее косточки: «Сделай это сегодня, Уилл, и ни минутой позже».

Он доверился ей и отправился к тому, о ком она говорила, – человеку с кривыми и иссохшими ногами, который ползал из камеры в камеру. Если у вас имелось что-то ценное, с чем вы готовы расстаться, тогда этот человек был готов написать для вас любое прошение.

Он отдал калеке свою толстую шерстяную шинель. Оторвать ее от себя было все равно, что оторвать собственную руку, потому что без этой шинели зиму на реке не пережить. Но ему ведь все равно больше не придется перегонять лихтеры, разве что этот человек сможет написать такое прошение, что его выпустят.

Уродец, закончив свое дело, прочел письмо вслух.

Оно было написано как бы самим Торнхиллом и адресовано капитану Уотсону, его постоянному клиенту с причала Челси, единственному знакомому с положением. В нем говорилось, как сильно Торнхилл сожалеет о содеянном, но это ведь первый его проступок, и он искренне молит Господа о

прощении. В нем также перечислялись все, кто от Торнхилла зависел – слабоумный брат, сестры, у которых, кроме него, никого не было, беспомощная жена и ребенок, и еще один ребенок, растущий в ни в чем не повинном чреве жены.

Торнхилл держал бумагу и рассматривал черные завитки чиновничьего почерка калеки, так непохожего на аккуратные буквы, которые выводила Сэл. Эти письма ничего ему не говорили. Для него они были не более чем отметины, которые мог бы оставить на столе жук после того, как поползал по лужице темного пива. Как же ужасно, что его жизнь зависит от таких хлипких закорюк.

Чудо из чудес – это письмо породило другое письмо. Капитан Уотсон написал его тому, кто занимал более высокое положение, – генералу Локвуду, который мог поговорить с мистером Артуром Орром, который был знаком с сэром Эразмусом Муртоном, который был вторым секретарем лорда Хоксбери. Лорд Хоксбери был конечной инстанцией. Ему принадлежала власть даровать или не даровать помилование.

Капитан Уотсон был хорошим человеком и отправил копию своего письма Сэл. Она пыталась, но не смогла расшифровать причудливый почерк, поэтому они обратились к калеке, чтобы он прочел им письмо вслух. Он читал споро, кичась тем, как ловко у него это получается: «Настоящим осужденный Уильям Торнхилл кланяется Вам и смиренно просит Вашу светлость о милосердии и снисхождении и поща-

де, дабы он и близкие его неустанно молились о Вас и о том, чтобы Вы всегда процветали подобно зеленому лавровому кусту подле вод, чтобы солнце радости вечно сияло над Вашей главою, чтобы Вы всегда преклоняли главу на подушку, ничем не тревожимую, и чтобы, когда Вы устанете от радостей земных и покров вечности согреет Ваш последний земной сон, ангел Господень препроводил Вас в рай».

И все такое – цветистых слов было так много, что Торнхилл совсем потерялся. Когда калека закончил чтение и уполз, они какое-то время сидели в молчании. Сэл все гладила и гладила сложенный уголком край толстой бумаги. Торнхилл подумал, что она, наверное, чувствует в сердце тот же леденящий ужас, что и он. Такого не может быть, чтобы узел на толстой пеньковой веревке развязался от этих словес. Он испугался, что капитан Уотсон неправильно оценил происходящее. С чего это вдруг он пустился рассуждать о подушке, ничем не тревожимой, если всего-то и надо было, что написать, каким он был порядочным человеком и надежным мужем и отцом?

Они с Сэл кивнули друг другу и даже нашли в себе силы улыбнуться, однако он видел, что она уже считала его мертвецом. Когда она говорила, она смотрела как бы чуть в сторону, словно он стал прозрачным, призрачным.

Сэл нездоровилось, хотя она и отрицала это. Она похудела, побледнела. Лиззи нашла для них работу – подшивать саваны, целых две дюжины, и Сэл с Лиззи и Мэри все сделали

как надо, но цена на нитки подскочила, а вот плата за работу, наоборот, упала. Один человек хотел, чтобы Уилли прочистил трубы – ему как раз был нужен мальчик такого роста, чтобы мог пролезть в самые узкие дымоходы, но Уилли пугался и плакал от страха. А теперь, сказала Сэл, у нее нет никакой работы. Она уже обращалась к мистеру Притчарду, но тот сказал, что простыней для подшивки сейчас нет, как и носовых платков.

Они опять помолчали, а потом Сэл воскликнула: «Если им не нужны носовые платки, чтобы сморкаться, тогда они, что, в соплях ходят?» – и засмеялась. Смех показался вымученным, но он все равно помог им не рухнуть под навалившейся на них тяжестью. Он тоже заставил себя засмеяться и посмотреть ей в глаза. Она снова взяла его за руку, и на этот раз уже не отводила взгляда.

Ей придется идти на панель. И они оба это знали. Он глянул на нее глазами клиента и увидел, что ей придется себя приукрасить – нарумяниться, завить волосы, сделать наглуую морду. И ради нее он улыбнулся совсем как живой.

Она не совершала никакого преступления, но была приговорена, как приговорен он.



Как-то утром тюремщик возник в дверях камеры и прорычал его имя. Ожидавший худшего Торнхилл крикнул: «Еще

не пора! Они сказали, что в пятницу на следующей неделе!»

Тюремщик посмотрел на него, но отвечать не спешил. И наконец промолвил: «Смотри, не обделайся от страха, Торнхилл. Значит, так, слушай», – и отступил в сторону, пропуская клерка, который еле слышно зачитал с плотного листа. «Поскольку Уильям Торнхилл предстал перед судом Олд-Бейли в октябре и был осужден...»

Клерк произносил все это скороговоркой, его обязанностью было зачитать, а уж следить за тем, кто и как его понял, он был не обязан. Скрипучий голос был едва слышен среди разнообразных шумов – чых-то разговоров, харканья, кашля, шарканья деревянных подошв по каменным плитам пола. Торнхилл подался вперед и снова услышал описание своего преступления – каждый раз он внутренне содрогался при этих словах: «...предстал перед судом и был осужден за кражу бразильской древесины с баржи на судоходной реке Темзе и приговорен за то к смерти. Мы, рассмотрев представленное нам ходатайство в его пользу, милостиво простираем на него нашу доброту и милосердие».

Не веря в услышанному, Торнхилл замер и весь превратился в слух. «И даруем ему прощение за указанное преступление при условии, что он будет послан к восточным берегам Нового Южного Уэльса на весь срок его приговора, то есть на протяжении его жизни до естественной кончины».

Там говорилось еще что-то, но Торнхилл уже ничего не слышал. Руки и ноги у него похолодели, колени ослабли, и

он все еще не верил. «Я буду жить?» – спросил он, переводя взгляд с клерка на тюремщика, и тот нетерпеливо воскликнул: «Да, приятель, но если ты предпочитаешь болтаться в петле, только намекни!» Клерк, вытащив другой лист, украшенный восковой печатью, сказал: «Тут еще есть, – и зачитал: – Я направлен лордом Хоксбери объявить, что дозволено...» Клерк остановился и кинул на Торнхилла быстрый взгляд, словно опасаясь, что ответный взгляд приговоренного обратит его в камень. «Как зовут вашу жену?» – спросил он, но Торнхилл не смог ответить, потому что все слова, все мысли, вообще все на свете покинуло его разум от сознания того, что он будет жить. Какое отношение ко всему этому имеет имя жены?

Тюремщик уже орал: «Твою жену, парень, как зовут твою чертову жену?!» Торнхилл ответил, чувствуя, что губы его совсем не слушаются: «Сэл, Сара Торнхилл». И клерк продолжил: «... что Саре Торнхилл, жене осужденного Уильяма Торнхилла, который будет препровожден на транспортный корабль “Александр” под командованием капитана Саклинга, дозволено сопровождать ее мужа вместо миссис Хеншелл, коя отказалась принять таковую милость, вместе с дитем указанных Уильяма и Сары Торнхилл».

Тюремщик фыркнул: «То есть твоей жене предстоит приятное морское путешествие, Торнхилл! И да упасет Господь ее душу!»

Сидней



То было унылое место – этот самый Сидней. Старожилы называли его Лагерем, и в 1806 году он и был чем-то вроде временного пристанища.

За двадцать лет до того здесь была просто одна из сотен бухт: суша, словно растопыренная пятерня, вгрызалась в огромную массу воды, только пальцев на этой ручище было больше, чем пять, потому и бухт имелось великое множество. И в жаркий день января 1788 года, когда большие белые птицы всполошились и сорвались с деревьев на берегу, капитан Королевского военного флота вошел сюда на всех парусах и выбрал бухту, в которой имелся ручей со свежей водой и песчаный ноготь-пляж. Капитан сошел с корабля, приказал поднять на кривоватом шесте государственный флаг и объявил эти земли заморскими территориями короля Георга III, монарха Великобритании, защитника веры. Теперь это место звалось Сиднейской бухтой и служило одной лишь цели: принимать приговоренных его величества судом.

Когда в то сентябрьское утро «Александр» бросил якорь в Сиднейской бухте, Уильям Торнхилл не сразу разглядел все, что его окружало. Злодеев вывели на палубу, и после долгого пребывания в заточении льющийся с неба свет бил,

как пощечина. Свет отражался от воды стрелами жесткими и яростными. Он закрылся ладонями, глядел сквозь пальцы, чувствовал, как по лицу текут слезы, и пытался их сморгнуть. На мгновение все увиделось ему четко: масса сверкающей воды, на которой покоился «Александр», складчатая земля, густо поросшая лесом, земля, похожая на вцепившуюся в воду хищную лапу. Несколько каменных зданий на берегу, казавшихся на этом солнце золотыми, с окнами, словно жидкое золото. Эти здания плыли и покачивались в световом потоке.

В уши ему били крики. Солнце – такого солнца он и представить себе не мог – прожигало тонкие одежды. Теперь, на суше, на него снова накатила морская болезнь, земля под ним раскачивалась, солнце, отражаясь от воды, лупило по черепу.

И какое ж это было облегчение – аккуратно, тихо опуститься без сил на доски причала.

Но вдруг в этой пытке светом возникла женщина, она выкрикивала его имя и пробиралась к нему сквозь толпу. «Уилл! – кричала она. – Я здесь, Уилл!» Он повернулся посмотреть. Моя жена, подумал он. Это моя жена Сэл. Но она была как будто всего лишь портретом его жены: после стольких месяцев он не мог поверить, что это была она, во плоти и крови.

Он лишь успел заметить мальчика, прижимавшегося к ее бедру, и сверток – младенца – у нее на руках, как человек

с густой черной бородой отпихнул ее палкой назад. «Жди своей очереди, шлюха!» – проорал он и отвесил ей пощечину. Ее проглотили другие лица, разверстые рты, черные на этом солнце. Сквозь шум он расслышал, как его зовут: «Торнхилл! Уильям Торнхилл!» – «Я Торнхилл!», – отозвался он и сам поразился, насколько сиплым и слабым был его голос. Человек с бородой схватил его за руку, и в безжалоном солнечном свете Торнхилл увидел, что в бороде вокруг рта полно хлебных крошек. Человек зачитал с листа: «Уильям Торнхилл передается в распоряжение миссис Торнхилл!» Человек так орал, что крошки летели из бороды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.